


# КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ



Константин Леонтьев

## Византизм и славянство

«Что такое византизм? Византизм есть прежде всего особое лицо, образованность или культура, имеющее свои отличительные признаки, свои общенациональные, резкие, понятные начала и свои определенные в истории последствия...

Византизм в государстве значит — самодержавие.

В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей...

Что такое славян?

Ответа нет!.. Славян, какой во всецелости своей, есть еще объект, западан.

Константин Николаевич Леонтьев

## **Византизм и славянство**

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы — и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

# Содержание

Глава I. Византизм древний . . . . .	0005
Глава II Византизм в России . . . . .	0028
Глава III Что такое славизм? . . . . .	0065
Глава IV Что такое славянство? (Продолжение) . . . . .	0096
Глава V Продолжение о славянах . . . . .	0104
Глава VI Что такое процесс развития? . . . . .	0132
Глава VII О государственной форме . . . . .	0149
Глава VIII О долговечности государств . . . . .	0173
Глава IX О возрасте европейских государств . . . . .	0187
Глава X Продолжение того же . . . . .	0203
Глава XI Сравнение Европы с древними государствами . . . . .	0223
Глава XII Заключение . . . . .	0243

**Леонтьев К. Н**  
**Византизм и славянство**

# Глава I. Византизм древний

**Ч**то такое византизм? Византизм есть прежде всего особого рода образованность или культура, имеющая свои отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие, понятнейшие начала и свои определенные в истории последствия.

Славизм, взятый во всецелости своей, есть еще сфинкс, загадка. Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна. Эта общая идея слагается из нескольких частных идей: религиозных, государственных, нравственных, философских и художественных.

Ничего подобного мы не видим во всеславянстве. Представляя себе мысленно всеславизм, мы получаем только какое-то аморфическое, стихийное, неорганизованное представление, нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образоваться самые разнообразные фигуры. Представляя себе мысленно византизм, мы, напротив того, видим перед собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, напри-

мер, что византизм в государстве значит — самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германской феодализмом; знаем склонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Византизм дает также весьма ясные представления и в области художественной или вообще эстетической: моды, обычаи, вкусы, одежду, зодчество, утварь — все это легко себе вообразить

несколько более или несколько менее византийским. Византийская образованность сменила греко-римскую и предшествовала романо-германской. Воцарение Константина можно считать началом полного торжества византизма (IV век по Р. Х.). Воцарение Карла Великого (IX век), его венчание императорское, которое было делом папства, можно считать первой попыткой романо-германской Европы выделить резко свою образованность из общевизантийской, которая до тех пор подчиняла себе, хотя бы только духовно, и все западные страны...

Именно вслед за распадением искусственной империи Карла все яснее и яснее обозначаются те признаки, которые составят, в совокупности своей, картину особой, европейской культуры, этой в свое время новой всемирной цивилизации. Начинают яснее обозначаться будущие пределы позднейших западных государств и частных культур Италии, Франции, Германии, близятся крестовые походы, близится цветущая эпоха рыцарства, феодализма германского, положившего основы чрезмерному самоуважению лица (самоуважению,

которое, перейдя путем зависти и подражания сперва в буржуазию, произвело демократическую революцию и породило все эти нынешние фразы о беспредельных правах лица, а потом, дойдя до нижних слоев западного общества, сделало из всякого простого поденщика и сапожника существо, исковерканное нервным чувством собственного достоинства). Вскоре после этого раздаются и первые звуки романтической поэзии. Потом развивается готическое зодчество, создается вскоре католическая поэма Данте и т. д. Папская власть растет с того времени.

Итак, воцарение Карла Великого (IX век) — вот приблизительная черта раздела, после которой на Западе стали более и более выясняться своя цивилизация и своя государственность.

Византийская цивилизация утрачивает с этого века из своего круга все обширные и населенные страны Запада, но зато приобретает своему гению на Северо-Востоке югославян, а потом и Россию.

Века XV, XVI, XVII суть века полного расцвета европейской цивилизации и время



полного падения византийской государственности на той почве именно, где она родилась и выросла.

Этот же самый XV век, с которого началось цветение Европы, есть век первого усиления России, век изгнания татар, сильнейшего против прежнего пересаждения к нам византийской образованности посредством укрепления самодержавия, посредством большего умственного развития местного духовенства, посредством установления придворных обычаев, мод, вкусов и т. д. Это пора Иоаннов, падения Казани, завоеваний в Сибири, век постройки Василия Блаженного в Москве, постройки странной, неудовлетворительной, но до крайности своеобразной, русской, указавшей яснее прежнего на свойственный нам архитектурный стиль, именно на индийское многоглавие, приложенное к византийским началам. Но Россия по многим причинам, о которых я не нахожу возможным здесь распространяться, не вступила тогда же в период цветущей сложности и многообразного гармоничного творчества, подобно современной ей Европе Возрождения.

Скажу лишь кратко. Обломки византизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные почвы. На Западе все свое, романо-германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой сложного цветения Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах, эпоха многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей.

Такая эпоха у мидо-персов последовала за прикосновением к разлагающимся мирам, халдейскому и египетскому, т. е. эпоха Кира, Камбиза и особенно Дария Гистаспа, у эллинов во время и после первых персидских войн, у римлян после пунических войн и все время первых кесарей; у Византии во времена Феодосиев, Юстиниана и вообще во время борьбы противу ересей и варваров, у нас, рус-

ских, со дней Петра Великого.

Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее.

Нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в XVII веке, во время Петра I или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца. Европейские влияния (польское, голландское, шведское, немецкое, французское) в XVII и потом в XVIII веке играли ту же роль (хотя и действовали гораздо глубже), какую играли Византия и древний эллинизм в XV и XVI веках на Западе. В Западной Европе старый, первоначальный, по преимуществу религиозный византизм должен был прежде глубоко переработаться сильными местными началами германизма: рыцарством, романтизмом, готизмом (не без участия и арабского влияния), а потом те же старые византийские влияния, чрезвы-

чайно обновленные долгим непониманием или забвением, падая на эту, уже крайне сложную, европейскую почву XV и XVI веков, пробудили полный расцвет всего, что дотоле таилось еще в недрах романо-германского мира.

Заметим, что византизм, падая на западную почву, в этот второй раз действовал уже не столько религиозной стороной своей (не собственно византийской, так сказать), ибо у Запада и без него своя религиозная сторона была уже очень развита и беспримерно могуча, а действовал он косвенно, преимущественно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности, сохраненными им, а не специально византийскими началами своими. Везде тогда на Западе более или менее усиливается монархическая власть несколько в ущерб природному германскому феодализму, войска везде стремятся принять характер государственный (более римский, диктаториальный, монархический, а не аристократически областной, как было прежде), обновляются несказанно мысль и искусство.

Зодчество, вдохновляясь древними византийскими образцами, производит новые сочетания необычайной красоты и т. д. У нас же со времен Петра принимается все это уже до того переработанное по-своему Европой, что Россия, по-видимому, очень скоро утрачивает византийский свой облик.

Однако это не совсем так. Основы нашего как государственного, так и домашнего быта остаются тесно связаны с византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество глубоко проникнуто византизмом в лучших проявлениях своих. Но так как здесь дело идет почти исключительно о вопросах государственных, то я позволю себе только напомнить о том, что Московский дворец наш хотя и неудачен, но по намерению своеобразнее Зимнего и был бы и лучше его, если бы был пестрее, а не белый, как сначала, и не песочный, как теперь, потому что пестрота и своеобразие более византийской (чем Петербург) Москвы пленяет даже всех иностранцев. Сургиен Robert говорит с радостью, что Москва есть единственный славянский город, кото-

рый он видел на свете; Ch. De Mazade, напротив того, говорит с бешенством, что самый вид Москвы есть вид азиатский, чуждый муниципально-феодальной картине Запада и т. д. Кто из них прав? Я думаю, оба, и это хорошо. Я напомним еще, что наша серебряная утварь, наши иконы, наши мозаики, создания нашего византизма, суть до сих пор почти единственное спасение нашего эстетического самолюбия на выставках, с которых пришлось бы нам без этого византизма бежать, закрывши лицо руками. Скажу еще мимоходом, что все наши лучшие поэты и романисты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов, оба графа Толстые (и Лев, и Алексей) — заплатили богатую дань этому византизму, той или другой его стороне, государственной или церковной, строгой или теплой...

*Но жарка свеча  
Поселянина Пред иконою  
Божьей Матери[1]*

Это точно так же русский византизм, как и возглас Пушкина:

*Иль Русского Царя бессильно сло-*

во?

*Иль нам с Европой спорить ново?  
Иль мало нас?...*

Семья?.. Но что ж такое семья без религии? Что такое русская семья без христианства? Что такое, наконец, христианство в России без византийских основ и без византийских форм?..

Я удержусь и больше ничего здесь не скажу ни об эстетическом творчестве русских, ни о семейной нашей жизни.

Я буду говорить несколько подробнее лишь о государственной организации нашей, о нашей государственной дисциплине.

Я сказал, что у нас при Петре принялось многое цивилизующее, до того уже по-своему переработанное Европой, что государственная Россия как будто бы вовсе утратила не только облик византизма, но и самые существенные стороны его духа. Однако, сказал я, это не совсем так. Конечно, при виде нашей гвардии (la garde), обмундированной и марширующей (marschieren) по Марсову полю (Champ de Mars) в Санкт-Петербурге, не подумаешь сейчас же о византийских легионах.

При взгляде на наших флигель-адъютантов и камергеров не найдешь в них много сходства с крещеными преторианцами, палатинами[2] и евнухами Феодосия или Иоанна Цимисхия. Однако это войско, эти придворные (занимающие при этом почти все политические и административные должности) покоряются и служат одной идее царизма, укрепившейся у нас со времен Иоаннов, под византийским влиянием. Русский царизм к тому же утверджен гораздо крепче византийского кесаризма и вот почему:

Византийский кесаризм имел диктаториальное происхождение, муниципальный избирательный характер.

Цинциннат, Фабий Максим и Юлий Цезарь перешли постепенно и вполне законно сперва в Августа, Траяна и Диоклетиана, а потом в Константина, Юстиниана, Иоанна Цимисхия.

Сперва диктатура в языческом Риме имела значение законной, но временной меры всемогущества, даруемого священным городом одному лицу; потом посредством законной же юридической фикции священный город перенес свои полномочные права, когда того



потребовали обстоятельства, на голову пожизненного диктатора-императора.

В IV же веке христианство воспользовалось этой готовой властью, привычной для народа, нашло в ней себе защиту и опору и помазало по-православному на новое царство этого пожизненного римского диктатора. Естественность этой диктаториальной власти была такова, привычка народов к ней так сильна, что под властью этих крещенных и помазанных Церковью диктаторов Византия пережила западный языческий Рим на 1100 с лишком лет, т. е. почти на самый долгий срок государственной жизни народов. (Более 1200 лет ни одна государственная система, как видно из истории, не жила: многие государства прожили гораздо меньше).

Под влиянием христианства законы изменились во многих частностях; новое римское государство, еще и прежде Константина утратившее почти все существенные стороны прежнего конституционного аристократического характера своего,[3] обратилось, говоря нынешним же языком, в государство бюрократическое, централизованное, самодержав-

ное и демократическое (не в смысле народо-властия, а в смысле равенства; лучше бы сказать эгалитарное). Уже Диоклетиан, предшественник Константина, последний из языческих императоров, тщетно боровшийся противу наплыва христианства, был вынужден, для укрепления дисциплины государственной, систематически организовать новое чиновничество, новую лестницу властей, исходящих от императора (у Гизо можно найти в «Histoire de la civilisation» подробную таблицу этих властей, служивших градативно новому порядку). С воцарением Христианских Императоров к этим новым чиновническим властям прибавилось еще другое, несравненно более сильное средство общественной дисциплины — власть Церкви, власть и привилегия епископов. Этого орудия Древний Рим не имел; у него не было такого сильного жреческого привилегированного сословия. У христианской Византии явилось это новое и чрезвычайно спасительное орудие дисциплины.

Итак, повторяю, кесаризм византийский имел в себе, как известно, много жизненно-

сти и естественности, сообразной с обстоятельствами и потребностями времени. Он опирался на две силы: на новую религию, которую даже и большая часть не христиан (т. е. атеистов и деистов) нашего времени признает наилучшей из всех дотоле бывших религий,[4] и на древнее государственное право, формулированное так хорошо, как ни одно до него формулировано не было (насколько нам известно, ни египетское, ни персидское, ни афинское, ни спартанское). Это счастливое сочетание очень древнего, привычного (т. е. римской диктатуры и муниципальности) с самым новым и увлекательным (т. е. с христианством) и дало возможность первому Христианскому Государству устоять так долго на почве расшатанной, полусгнившей, среди самых неблагоприятных обстоятельств.

Кесарей изгоняли, меняли, убивали, но святыни кесаризма никто не касался. Людей меняли, но изменять организацию в основе ее никто не думал. Относительно византийской истории надо заметить еще следующее. В нашей образованной публике распростра-

нены о Византии самые превратные или, лучше сказать, самые вздорные, односторонние или поверхностные понятия. Наша историческая наука была до последнего времени незрела и лишена самобытности. Западные писатели почти все долго страдали (иногда и бессознательным) пристрастием или к республиканству, или к феодализму, или к католичеству и протестантству, и потому Византия Самодержавная, Православная и вовсе уже не феодальная не могла внушать им ни в чем ни малейшего сочувствия. Есть в обществе, благодаря известному складу школьного обучения, благодаря известному характеру легкого чтения и т. п., привычка, не долго думая, чувствовать симпатию к иным историческим явлениям и почти отвращение к другим. Так, например, и школа, и стихи, и множество статей и романов приучили всех нас с ранних лет с содроганием восторга читать о Марафоне, Саламине и Платее и, отдавая все сочувствие наше эллинским республиканцам, смотреть на персов почти с ненавистью и презрением.

Я помню, как я сам, прочтя случайно (и у

кого же? — у Герцена!) о том, как во время бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабль и спасти Ксеркса, как они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт... Я помню, как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз (а сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической греко-персидской борьбе!): «Герцен справедливо зовет это персидскими Фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения большую, чем у самих сподвижников Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи!»

С этой минуты я, сознаюсь, стал на Древнюю Персию смотреть уже на так, как учили меня школа 40 и 50-х годов, поэзия и большинство исторических попадавшихся мне сочинений. Я полагаю, что у многих есть какие-нибудь подобного рода воспоминания.

Мне кажется, главная причина тут в том, что Персия не оставила нам таких хороших литературных произведений, как оставила Эллада. Греки умели изображать все реальнее и осязательнее, «теплее», так сказать, других своих соседей и современников, и оттого мы их знаем лучше и любим больше, несмотря на все их пороки и ошибки.

Молчание не всегда есть признак бессодержательности. G. Sand хорошо называла иных людей, исполненных ума и души, но не одаренных умением выразить свою внутреннюю жизнь, *les grands muets*; к таким людям она причисляла и известного ученого, G. St.-Hilaire, который, по-видимому, многое понимал и предвидел глубже своего товарища и соперника Кювье, но не мог никогда восторжествовать над ним в спорах.

Наука, однако, во многом впоследствии оправдала St.-Hilaire'a. Быть может, и Персия была, сравнительно с Грецией, такой же Grand Muet. Есть примеры и ближе к нам. Если рассматривать жизнь России со времен Петра I и до наших времен, разве она много-сложностью своих явлений не драматичнее,

не поэтичнее, не богаче хотя бы истории однообразно переменчивой Франции XIX века? Но Франция XIX века говорит о себе беспрестанно, а Россия до сих пор еще не выучилась говорить о себе хорошо и умно и все еще продолжает нападать на чиновников и заботиться о всеобщей «пользе».

Рим, средние века Европы и тем более Европа новейшего, более близкого к нам времени оставили нам также такую богатую, распространенную тысячами путей литературу, что чувства, страдания, вкусы, подвиги и даже пороки римлян, рыцарей, людей Возрождения, Реформы, людей пудры и фижм, людей революции и т. д. нам знакомы, близки, более или менее родственны. От времен Пизистрата или даже от Троянской войны до времен Бисмарка и Седанского плена перед нами проходит великое множество лиц, привлекательных или антипатичных, счастливых и несчастных, порочных и добродетельных, но во всяком случае множество лиц живых и понятных нам. Один из нас сочувствует одному лицу, другой — другому; один из нас предпочитает характер аристократической нации,

другому нравится демагогия; один предпочитает историю Англии времен Елизаветы, другой Рим в эпоху блеска, третий Афины Перикла, четвертый Францию Людовика XIV или Францию Конвента, но во всяком случае для большего числа образованного общества жизнь всех этих обществ — жизнь живая, понятная хоть урывками, но понятная сердцу. Византийское общество, повторяю, напротив того, пострадало от равнодушия или недоброжелательства писателей западных, от неготовленности и долгой незрелости нашей русской науки.

Византия представляется чем-то (скажем просто, как говорится иногда в словесных беседах) сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым.

Между павшим языческим Римом и эпохой европейского Возрождения обыкновенно представляется какая-то зияющая темная пропасть варварства. Конечно, литература историческая уже обладает несколькими прекрасными трудами, которые населяют мало-помалу эту скучную бездну живыми тень-



ми и образами. (Таковые, например, книги Амедея Тьерри.)

История цивилизации в Европе Гизо написана и издана уже давным-давно. В ней мало повествовательного, бытового; но зато движение идей, развитие внутреннего нерва жизни, изображено с гениальностью и силой. Гизо имел в виду преимущественно Запад; однако, говоря о Церкви Христианской, он должен был поневоле беспрестанно касаться тех идей, тех интересов, вспоминать о тех людях и событиях, которые были одинаково важны и для западного и для восточно-христианского мира. Ибо варварства, в смысле совершенной дикости, простоты и бессознательности, вовсе не было в эту эпоху, но была, как я вначале уже сказал, общая византийская образованность, которая переступала тогда далеко за пределы византийского государства точно так же, как переступала государственные пределы Эллады когда-то эллинская цивилизация, как переступает еще дальше теперь европейская за свои политические границы.

Есть и другие ученые книги, которые могут помочь нам, если мы захотим восполнить

тот недостаток представлений, которым мы, люди неспециальные, страдаем, когда дело касается Византии.

Но искать охотников мало, и до тех пор, пока найдутся хоть между русскими, напр., люди с таким же художественным дарованием, как братья Тьерри, Маколей или Грановский, люди, которые посвятили бы свой талант византизму... пользы живой, сердечной пользы не будет.

Пусть бы кто-нибудь, напр., переделал или даже перевел просто, но изящно, на современный язык Жития Святых, ту старую «Четью-Минею» Димитрия Ростовского, которую мы все знаем и все не читаем, и этого было бы достаточно, чтобы убедиться, сколько в византизме было искренности, теплоты, геройства и поэзии. Византия не Персия Зороастра; источники для него есть, источники, крайне близкие нам, но нет еще искусных людей, которые сумели бы приучить наше воображение и сердце к образам этого мира, с одной стороны, столь далеко отошедшего, а с другой — вполне современного нам и органически с нашей духовной и государственной

жизнью связанного.

Предисловие к одной из книг Амедея Тьерри «Последние времена Западной Империи» (*Derniers Temps de l'Empire d'Occident*) содержит в себе прекрасно выраженные жалобы на пренебрежение западных писателей к византийской истории. Он приписывает, между прочим, много важности пустой игре слов *Bas-Empire* (Нижняя империя, империя низкая, презренная) и называет летописца, который первый разделил римскую историю на историю Верхней (итальянской) и Нижней (греческой) империй, летописцем неудачливым, неловким, несчастным (*malencontreux*). «Не надо забывать, — говорит Тьерри, — что именно Византия дала человечеству совершеннейший в мире религиозный закон — христианство. Византия распространила христианство; она дала ему единство и силу». «И между гражданами Византийской империи, — говорит он далее, — были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество!»

# Глава II

## Византизм в России

Я сказал, что римский кесаризм, оживленный христианством, дал возможность новому Риму (Византии) пережить старый Итальянский Рим на целую государственную нормальную жизнь, на целое тысячелетие.

Условия русского православного царизма были еще выгоднее. Перенесенный на русскую почву, византизм встретил не то, что он находил на берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой образованности, не страны, стесненные у моря и открытые всяким враждебным набегам... Нет! Он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную, он встретил народ простой, свежий, ничего почти не испытавший, простодушный, прямой в своих верованиях. Вместо избирательного, подвижного, пожизненного диктатора византизм нашел у нас Великого Князя Московского, патриархально и наследственно управлявшего Русью. В византизме царила одна отвлеченная юридическая идея: на Руси

эта идея обрела себе плоть и кровь в царских родах, священных для народа. Родовое монархическое чувство, этот великорусский легитимизм был сперва обращен на дом Рюрика, а потом на дом Романовых.

Родовое чувство, столь сильное на Западе в аристократическом элементе общества, у нас же в этом элементе всегда гораздо слабейшее, нашло себе главное выражение в монархизме. Имея сначала вотчинный (родовой) характер, наше государство этим самым развилось впоследствии так, что родовое чувство общества у нас приняло государственное направление. Государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи. Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа. Я видел довольно много разных народов на свете и читал, конечно, как читают многие. В Крыму, в Малороссии, в Турции, в Австрии, в Германии, везде я встретил то же. Я нашел, что все почти иностранные народы, не только немцы и англичане (это уже слишком известно), но и столькие другие: малороссы, греки, Болга-

ры, сербы, вероятно (если верить множеству книг и рассказов), и сельские или вообще провинциальные французы, даже турки, гораздо семейственнее нас, великороссов. Обыкновенно принято, что турецкая семья — не семья. Это легко сказать и успокоиться. Другое дело сказать, что христианский идеал семьи выше мусульманского идеала. Это, конечно, так, и у тех христианских народов, у которых есть прирожденный, или выработанный их историей, глубокий фамилизм, как, например, у германских наций, он и выразился так сильно, твердо и прекрасно, как не выражался дотоле ни у кого и нигде. Чтобы убедиться в этом нагляднее, надо, с одной стороны, вспомнить несравненную ни с чем другим прелесть семейных картин Диккенса или Вальтера Скотта и с менее гениальной силой у всех почти английских писателей. А с другой — германскую нравственную философию, которая первая развила строго идею семейного долга для долга, даже вне религиозной заповеди. Можно ли вообразить себе великого великорусского писателя, который догадался бы прежде немцев изложить такой взгляд и

изложил бы его хорошо, оригинально, увлекательно? Будем искренни и скажем, что это, может быть, грустная правда, но правда.

Что касается до художественных изображений, то пусть только сравнит кто-нибудь самых даровитых писателей наших с английскими, и он увидит тотчас же, до чего я прав. Разве можно сравнить семейные картины графа Л.Н. Толстого с картинами Вальтера Скотта и особенно Диккенса? Разве теплота «Детства и отрочества» может сравниться с теплотой, с каким-то страстным эфическим лиризмом Копперфильда? Разве семейная жизнь «Войны и мира», семейные (весьма немногосложные) идиллические оттенки в произведениях Тургенева и Гончарова равны по обилию и силе идиллических красот семейным картинам английской литературы? Разве можно вообразить себе великого русского поэта, который написал бы «Колокол» Шиллера? Сильны ли семейные чувства (сравнительно с германским, конечно) у Пушкина, у Лермонтова и у самого полумужика Кольцова?

Совсем ли был не прав Белинский, когда

над предисловием своим к стихам Кольцова поставил эпиграфом стихи Аполлона Григорьева:

*Русский быт — Увы — совсем не  
так глядит,  
Хоть о семейности его Славяно-  
филы нам твердят  
Уже давно, но, виноват, Я в нем не  
вижу ничего  
Семейного.*

Отчего широкий на все руки «Питерщик» Писемского и угрюмый, пострадавший в семье «Бирюк» Тургенева всем показались в свое время естественнее, правдивее всех ala G. Sand сельских идиллий Григоровича? Григорович знал хорошо язык крестьян, верно изображал многие типы, у него было чувство несомненное, но он попал на ложную дорогу слишком уже доброго и твердого фамилизма, который — увы — в удел великорусу не достался!

Я знаю, что многим высоконравственным и благородным людям больно слушать подобные вещи; я знаю, что сознавать это правдой тяжело... Быть может, мне и самому это боль-



но. Но разве мы поможем злу, скрывая его от себя и от других? Если это зло (и, конечно, зло большое), то лучше беспрестанно указывать на него, чтобы ему противодействовать сколько есть сил; а уверять самих себя, что мы семейственны потому только, что попадаютя и у нас, там и сям, согласные, строго нравственные по убеждению семьи, это было бы то же, что уверять: «Мы очень феодальны в общественной организации, потому что и у нас есть древние княжеские и боярские многовековые роды, потому что и у нас было и есть еще отчасти богатое благовоспитанное дворянство, недавно еще привилегированное, сравнительно с другими классами народа». Это так; но ведь чтобы судить верно общественный организм, необходимо сравнивать его с другими такими же организмами; а рядом с нами германские народы развили в течение своей исторической жизни такие великие образцы аристократичности, с одной стороны, и фамилизма — с другой, что мы должны же сознаться: нам и в том, и в другом отношении до них далеко! Если мы найдем старинную чисто великорусскую семью (т. е. в

которой ни отец, ни мать ни немецкой крови, ни греческой, ни даже польской или малороссийской), крепкую и нравственную, то мы увидим, во-первых, что она держится больше всего православием, Церковью, религией, византизмом, заповедью, понятием греха, а не вне религии стоящим и даже переживающим ее эфическим чувством, принципом отвлеченного долга, одним словом, чувством, не признающим греха и заповеди, с одной стороны, но и не допускающим либерального или эстетического эвдемонизма — с другой, не допускающим той согласной взаимной терпимости, которую так любило дворянство романских стран XVII и XVIII вв. и которое у нас хотел проповедовать Чернышевский в своем романе «Что делать?» Роман этот, отвратительный художественно, грубый, дурно написанный, сделал, однако, своего рода отрицательную пользу: он показал впервые ясно, чего именно хотят люди этого рода. И в этих людях сказался отчасти великоруссизм, хотя на этот раз своими вредными сторонами, своими разрушительными выводами. Всякое начало, доведенное одной стороной последова-

тельностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже и самоубийственным. Так, например, если бы идею личной свободы довести до всех крайних выводов, то она могла бы, через посредство крайней анархии, довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства. Дайте право людям везде продавать или отдавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и т. п., и вы увидите, сколько и в наше время нашлось бы крепостных рабов или полурабов, по воле.

Слабосемейственность великоруссизма сказалась ярко в сочинениях наших нигилистов. Нигилисты старались повредить и государству; но в защиту государственности со всех сторон поднялись бесчисленные и разнообразные силы, а в защиту семейственности раздавались больше даровитые и благородные голоса, чем поднимались силы реальные, фактические... Я прошу только посмотреть внимательно и бесстрашно на жизнь нашу и нашу художественную литературу.[5] Если,

например, некоторым известным славянофилам посчастливилось вырасти в крепких великорусских семьях, то, во-первых, все эти семьи были крайне православными, а во-вторых, имеем ли мы логическое право всегда верить в то, что нам нравится, в то, что мы любим находить и у других то, что нам в самих нас дорого?

В этом-то смысле я, сам великоросс вполне, в прошлой главе сказал: «Что такое семья без религии? Что такое религия без христианства? Что такое христианство в России без православных форм, правил и обычаев, т. е. без византизма?» Кто хочет укрепить нашу семью, тот должен дорожить всем, что касается Церкви нашей!

Дай Бог, чтобы я был не прав, утверждая, что семейное начало у нас слабо! Я буду очень рад, если какая-нибудь точная статистика докажет мне, что я ошибся, что я слишком пессимист в отношении нашего фамилизма. Но пока мне этого не докажут, я буду стоять на своем и находить, что не только у германских народов и у тех представителей романских, у которых было больше случайно-

го германизма, но и у малороссов, у греков, югославян, у турок даже, семейное начало глубже и крепче нашего.

Я говорю, у турок. Идеал мусульманской семьи ниже христианского; но личный ли темперамент турок, условия ли их общественного развития сделали то, что они очень любят свою семью, свое родство, свой род, свой очаг. У них есть большое расположение к семейному идиллизму.

Итак, родовое чувство, повторяю, выразилось сравнительно у нас и в семье слабее, чем у многих других; в аристократическом начале то же самое; всю силу нашего родового чувства история перенесла на государственную власть, на монархию, царизм.

Когда я употребляю выражение «аристократическое начало», надо понять, что я говорю в самом обширном смысле. Я понимаю очень хорошо, что хотят сказать те, которые утверждают, что у нас никогда не было аристократии; но нахожу, что этот оборот речи не совсем правилен; он не исчерпывает явления вполне. Аристократическое начало у нас было (и даже есть), как и везде,[6] но родовой

и личный характер у него был (и есть) выражен гораздо слабее, чем во всех западных феодальных аристократиях или чем один родовой в муниципальной аристократии древнеримских патрициев и оптиматов.

Привилегированные люди, единоличная власть, семья, разные ассоциации, общины — все это есть везде, все это реальные силы, неизбежные части всех общественных организмов. Но они разнородно сопряжены и неравномерно сильны и ярки у разных наций и в разные времена.

Так, я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государственной является склонность к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало. Смотря по тому, какой оттенок, какая реальная сила преобладала в том или другом народе, и все другие окрашиваются им, про-

никаются его элементами. У нас родовой наследственный царизм был так крепок, что и аристократическое начало у нас приняло под его влиянием служебный, полуродовой, слабородовой, несравненно более государственный, чем лично феодальный, и уже несколько не муниципальный характер. Известно, что местничество носило в себе глубоко служебный государственный, чиновничий характер. Гордились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не древностью самого рода, не своей личностью, не городом, наконец, или замком, с которыми бы сопряжены были их власть и племя. Усилия царей рода Романовых и самые резкие преобразования Петра изменили лишь частности, сущность не могла бы быть изменена. Ранги, введенные Петром, казалось бы, демократизировали дворянство в принципе. Всякий свободный человек мог достичь чинов, служа Царю (т. е. государству). Но оказалось на деле иное, дворянство этим больше выделялось из народа, фактически аристократизировалось, особенно в высших своих слоях. До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой кар-

тине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти умом и властью, несмотря на подчинение царизму.

Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружился и досуг, и вкус, и умственное торжество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический, в смысле вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цветению, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. Она охраняла крепостное право (целость мира, общины поземельной,[7] распространяла даже это право на Малороссию и, с другой стороны, давала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и потому возвышала собственно



аристократические его свойства — род и личность; с ее времени дворянство стало несколько независимее от государства, но по-прежнему оно преобладало и господствовало над другими классами нации. Оно еще более выделилось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и т. п. Людовик XIV и Петр I были отчасти современниками. Но самодержавие Людовика XIV значительно уравнило Францию: оно стерло последние следы могучей прежней феодальной независимости. Франция следующего века быстро пошла к демократизации и политическому смешению.

Самодержавие Петра, напротив того, раскололо крепче прежнего Россию, приготовило более прежнего аристократические, разнообразные по содержанию эпохи Екатерины и Александра I. С течением времени непрочное, малородовое дворянство наше, отжившее свой естественный век, утратило свое исключительное положение, которое могло бы, сохраняясь, привести к какому-нибудь насиль-

ственному разгрому снизу. Аристократическая роль дворянства кончилась не столько понижением его собственных прав и вольностей, сколько дарованием прав и вольностей другим. Уравнение неизбежное все-таки совершилось естественным ходом развития. Мирный же характер этого уравнения произошел опять-таки от силы и прочности нашего родового наследственного царизма, от того прекрасного, так сказать, исторического воспитания, которое он нам дал; ибо в созидании его соединились три могущественных начала: римский кесаризм, христианская дисциплина (учение покорности властям) и сосредоточившее всю силу свою на царском роде родовое начало наше, столь слабое (сравнительно) и в семье, и в дворянстве нашем, и, может быть, в самой общине нашей.[8]

С самого начала истории нашей мы видим странные комбинации реальных общественных сил, вовсе не похожие ни на римско-эллинистические, ни на византийские, ни на европейские. Удельная система наша соответствует, с одной стороны (если смотреть аналогически на начало всех государств, известных исто-

рии), той первоначальной, простой по быту и понятиям, отличной от народа аристократии, которую мы встречаем при зарождении всех государств, грубым патрициям первого Рима (и, вероятно, чем-нибудь подобному и у других итальянских народов), германскому первоначальному рыцарству и т. д.

Подвижность относительно места, неподвижность и крепость относительно рода, перевес родового начала и над личным, и над избирательно-муниципальным, которое представлялось народным вечем городов.

Такова была наша удельная система, если ее рассматривать как первобытную аристократию. Она таила в себе, однако, глубокие монархические свойства, именно потому, вероятно, что вне одного рода Рюрика, внезапно столь размноженного, не было никакой другой сильной и организованной аристократии. Самые вечевые конституции наши были, вероятно, так эгалитарны по духу своему, что их отпор централизующей власти не мог быть силен, как только все боярство выразило вполне ясно и раз навсегда, что оно и не феодально (не слишком лично), и не муници-

пально, а служебно и всегосударственно. Аристократия наша приняла, наконец, чиновный характер; чиновничество же, со своей стороны, — родовой, наследственный. Служба давала наследственные права. Изгнанное историей из дворянства, из аристократии начало рода разлилось по различным другим составным частям общества, проникло в купеческое сословие[9] и придало духовенству не бывший в Византии наследственный левитизм.

Под влиянием внешних врагов и под влиянием дружественного византизма кровная удельная аристократия пала и перешла, вместе с новыми родами, в это простое служилое дворянство. При всех этих передвижениях и переходах жизнь России разнообразилась, развивалась; креп царизм центральный, воспитанный византизмом, и Русь все росла и все умнела.

Итак, у нас были всегда слабее, чем у многих других, муниципальное начало, родовое, наследственно-аристократическое и даже семейное, как я старался это показать.

Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское православие, родовое и безгра-

ничное самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир (так, по крайней мере, думают многие о нашей общине; так думают наши охранители православия и самодержавия, славянофилы, и, с другой стороны, человек совершенно противоположный им, социалист испанский, Эмиль Каstellар. Об общине я рассуждать здесь не буду; цель моя иная).

Я хочу сказать, что царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь!

Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем

ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!

Г. Костомаров, несомненно, талантливый малоросс, но кто же считает его особенно пристрастным к великоруссизму? Однако стоит раскрыть его «Историю смутного времени» (не знаю, верно ли я помню заглавие этой книги), чтобы убедиться, до чего важен для нас византизм с тем двойственным характером Церкви и родового самодержавия, с которым он утвердился на Руси. Поляки были в Москве; царя или вовсе не было, или являлось несколько самозванцев в разных местах, один за другим. Войска были везде разбиты. Бояре изменяли, колебались или были бессильны и безмолвны; в самых сельских общинах царствовал глубокий раздор. Но стоило только поляку войти в шапке в церковь или оказать малейшее неуважение к Православию, как немедленно распался русский пат-

риотизм до страсти. «Одно православие объединяло тогда русских», — говорит г. Костомаров. Церковное же чувство и покорность властям (византийская выправка) спасли нас и в 12-м году. Известно, что многие крестьяне наши (конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием) обрели в себе мало чисто национального чувства в первую минуту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, брали от французов деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но как только увидали люди, что французы обдирают иконы и ставят в наших храмах лошадей, так народ ожесточился, и все приняло иной оборот. К тому же и власти второстепенные были тогда иные: они умели, не задумываясь, обуздывать неразумные увлечения.

А чему же служили эти власти, как не тому же полувизантийскому царизму нашему? Чем эти низшие власти были воспитаны и выдержаны, как не долгой иерархической дисциплиной этой полувизантийской Руси? Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов, в

преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее.

Что, как не сохранение в христианстве восточно-византийского оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которые решили в последний раз участь польского вопроса? Разве не византизм определил нашу роль в великих, по всемирному значению, восточных делах?

Даже раскол наш великорусский носит на себе печать глубокого византизма. За мнимую порчу этого византийского православия осердилась часть народа на Церковь и правительство, за новшества, за прогресс. Раскольники наши считают себя более византийцами, чем членов господствующей Церкви. И сверх того (как явствует из сознания всех людей, изучавших толково раскол наш), раскольники не признают за собою права политического бунта; знакомые довольно близко с церковной старой словесностью, они в ней, в этой византийской словесности, находят постоянно учение о строгой покорности преобладающим властям. Лучше, нагляднее всех об



этом писал Василий Кельсиев. Я сам, подобно ему, жил на Дунае и убедился, что он отлично понял это дело.

Если исключить из числа наших разнообразных сектантов малочисленных молокан и духоборцев, в которых уже почти ничего византийского не осталось, то главные отрасли нестарообрядческого раскола окажутся мистики: хлысты и скопцы. Но и они не вполне разрывают с православием. Они даже большею частью чтут его, считая себя только передовыми людьми веры, иллюминатами, вдохновенными. Они вовсе не протестанты. (Дервиши почти в том же духе относятся к мусульманству; они не совсем оторванные сектанты; они, т. е. дервиши, кажется, что-то среднее между нашими мистиками — христовыми и Божьими людьми — и нашими православными отшельниками.)

Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм. Даже все почти большие бунты наши никогда не имели ни протестантского, ни либерально-демократи-

ческого характера, а носили на себе своеобразную печать лжелегитимизма, т. е. того же родового и религиозного монархического начала, которое создало все наше государственное величие. Бунт Стеньки Разина не устоял, как только его люди убедились, что государь не согласен с их атаманом. К тому же Разин постоянно старался показать, что он воюет не противу крови царской, а только противу бояр и согласного с ними духовенства.

Пугачев был умнее, чтобы бороться против правительства Екатерины, которого сила была несравненно больше сил допетровской Руси; он обманул народ, он воспользовался тем легитимизмом великорусским, о котором я говорил. Нечто подобное же хотели пустить в ход и наши молодые европейские якобинцы 20-х годов.

Уверяют многие, что на подобных же монархических недоразумениях держатся и теперь еще политические взгляды некоторых сектантов. Что же хотел я этим сказать? Монархическое начало является у нас единственным организующим началом, главным орудием дисциплины, и это же самое начало

служит знаменем бунтам? Да! Это так, и это еще невелико несчастье. Без великих волнений не может прожить ни один великий народ. Но есть разные волнения. Есть волнения вовремя, ранние, и есть волнения не вовремя, поздние. Ранние способствуют созданию, поздние ускоряют гибель народа и государства. После волнений плебеев Рим вступил в свой героический период; после преторианских вспышек и после мирного движения христиан Рим разрушился.

Протестантская ранняя революция Англии создала ее величие, укрепила ее аристократическую конституцию. А якобинская поздняя революция французов стала залогом их падения. После 30-летнего религиозного междоусобия в Германии явились Фридрих II, Гете, Шиллер, Гумбольдт и т. д., а после ничтожной и даже смешной борьбы 48-го года — Бюхнеры, Бюхнеры и Бюхнеры! (Разве это не упадок?) Что касается до гениального Бисмарка, еще неизвестно, что он такое для Германии, действительный ли возродитель, или одно из тех шумных и блестящих лиц, которые являются всегда у народов накануне их падения,

чтобы собрать воедино и израсходовать навсегда все последние запасные силы общества. Мне кажется, вопрос может быть спорным только на какую-нибудь четверть века, т. е. можно спрашивать себя, что такое эпоха Бисмарка? Эпоха Наполеона I или Наполеона III? Последнее, я думаю, вернее.

Германия не моложе Франции, ни по годам, ни по духу, ни по строю; если же Пруссия была моложе, то где ж теперь эта Пруссия? До сих пор все наши волнения пришлись вовремя, и с ними именно потому и можно было справиться, что в душах бунтующих были глубокие консервативные начала, потому что все наши бунты имели более или менее самозваннический или мнимолегитимный характер.

Это раз. А с другой стороны, тут и неестественного ничего нет. Если какое-нибудь начало так сильно, как у нас монархическое, если это начало так глубоко проникает всю национальную жизнь, то понятно, что оно должно, так сказать, разнообразно извиваться, изворачиваться и даже извращаться иногда под влиянием разнородных и переходя-

щих условий.

Русские самозваннические бунты наши доказывают только необычайную жизненность и силу нашего родового царизма, столь тесно и неразрывно связанного с византийским православием.

Я осмелюсь, даже не колеблясь, сказать, что никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция. О демократических конституциях я скажу подробнее позднее; здесь же остановлюсь немного на мусульманах.

Любопытно, что с тех пор, как мусульмане в Турции ближе ознакомились и с Западом, и с нами, мы, русские, несмотря на столько войн и на старый антагонизм наш с Турцией, больше нравимся многим туркам и личным, и государственным характером нашим, чем западные европейцы. Церковный характер нашей Империи внушает им уважение; они находят в этой черте много сходства с религиозным характером их собственной народности. Наша дисциплина, наша почтительность

и покорность пленяют их; они говорят, что это наша сила, завидуют нам и указывают друг другу на нас как на добрый пример. Если бы турецкое правительство ушло с Босфора, а турки бы ушли не все за ним с Балканского полуострова, то, конечно, они всегда бы надеялись на нас как на защитников против тех неизбежных притеснений и оскорблений, которым бы подвергались они от вчерашних рабов своих, югославян и греков, вообще довольно жестоких и грубых. Турки и теперь, по личному вкусу, предпочитают нас и болгарам, и сербам, и грекам. Чиновники наши на Востоке, монахи афонские и раскольники дунайские (турецкие подданные) вообще туркам нравятся больше, чем европейцы западные и чем подвластные им славяне и греки.

Здесь нет мне больше места, но где-нибудь, в другой раз я опишу подробно любопытные разговоры, которые я очень недавно имел об России с одним пашою, знавшим довольно хорошо русских, и еще с двумя простыми, но умными малоазиатскими старообрядцами. Эти последние удивлялись нечаевскому делу и с негодованием говорили мне о

тех людях, которые хотели бы в России республику сделать. «Помилуйте! — сказали они мне с силой во взгляде и голосе — Да это все должны за царя встать. Мы вот и в Турции живем, а и нам скверно об этом слышать». Два приезжих из России монаха были при этом. «Удивительно, — сказали они, — что с этими молодыми господами двое никак из мещан, студенты попались. Другое дело, если господские дети сердятся на государя за освобождение крестьян. А этим-то что?» Я из политического чувства не стал их уверять, что между «господами» и «нигилистами» нет ничего общего. (Это недоразумение тем спасительно, что мешает сближению анархистов с народом.) Что касается до умного паши, то он, прочтя Гоголя во французском переводе, хотя и смеялся много, но потом важно стал развивать ту мысль, что у всех этих комических героев Гоголя одно хорошо и очень важно. Это их почтение к высшим по чину и званию, к начальству и т. п. «Ваше государство очень сильно, — прибавил он. — Если Чичиков таков, что же должны быть умные и хорошие люди?» «Хорошие люди, паша мой, — отвечал

я, — нередко бывают хуже худых. Это иногда случается. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого („pour l'ensemble politique“ сказал я)».

Паша согласился. Он говорил мне много еще поучительного и умного о русских, о раскольниках, о малороссах, которых он звал: «Ces bons Nohols. Je les connais bien les Nohols, — говорил он, — mais les lipovanes russes sont encore mieux. Ils me plaisent davantage.[10] Они отличные граждане, гораздо лучше греков и болгар; и малороссы и липоване ваши заботятся лишь о религии своей. А у греков и у болгар только одно в уме обезьянство политическое, конституция и т. п. вздор. Верьте мне, Россия будет до тех пор сильна, пока у вас нет конституции. Я боюсь России, не скрою этого от вас и с точки зрения



моего турецкого патриотизма от всего сердца желал бы, чтобы у вас сделали конституцию. Но боюсь, что у вас государственные люди всегда как-то очень умны. Пожалуй, никогда не будет конституции, и это для нас, турок, довольно страшно!» Ко мнению паши и малоазийских раскольников прибавлю еще мнение глубокомысленного Карлейля о русском народе:

«Что касается до меня (писал он Герцену), я признаюсь, что никогда не считал, а теперь (если это возможно) еще меньше, чем прежде, считаю благом всеобщую подачу голосов во всех ее видоизменениях. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаления в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм чистой анархии (а я ее такой, по несчастью, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов. Вашу обширную родину (т. е. Россию) я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя Провидения, которого внутренний смысл еще не известен,

но который, очевидно, не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она превенствует и который дает ей мощь, далеко превышающую другие страны, талант, необходимый всем нациям, всем существам и беспощадно требуемый от них всех под опасением наказаний, — талант повиновения, который в других местах вышел из моды, особенно теперь!» И не только покорность, но и другие высокие и добрые чувства выработались в народе нашем от долгой дисциплины, под которой он жил. Недавно я случайно встретил в одном православном журнале следующее замечание: «При решительном отсутствии всякой свободы и самобытности в жизни гражданской и общественной нашему простолудину естественно было пытаться вознаградить себя самобытностью в жизни духовной, самодеятельностью в области мысли и чувства» («Христианское чтение», «О русском простонародном мистицизме» Н.И. Барсова). Правда, это привело к расколам и ересям, но зато привело, с одной стороны, к поэтическому творчеству, а с другой — к равнодушию в политических внутренних вопросах,

к высокой слабости демагогического духа, именно к тому, чего хотело всегда христианство: «Царство Мое не от мира сего». Такое направление равно полезно и для практической мудрости народов в политике, и для развития поэтических склонностей. Практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти, чтобы как можно менее мешаться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, мешающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самые люди даже всегда приятнее, умнее.

Одним словом, с какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, т. е. Церковь и царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма.

Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной. Византизм организовал нас,

система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым вначале, славянским материалом.

Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию. Ибо тайные помыслы, рано или поздно, могут найти себе случай для практического выражения.

Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего Царства, могучий, но все-таки же способный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному.

Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий. Во всех положительных религиях, кроме огромной поэзии их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее

всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе: «Христос, Сын Божий, Спаситель», «Рим вечный священный город Марса», «Папа непогрешим *ex cathedra*», «Один Бог и Магомет Пророк Его» и т. д.

А общее благо, если только начать о нем думать (чего, обыкновенно, говоря о благе и пользе, в наше время и не делают), что в нем окажется реального, возможного?

Это самое сухое, ни к чему хорошему, даже ни к чему осязательному не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу; другой находит, что общее благо это

— то работать, то наслаждаться всегда и ничему не верить идеальному; а третий — только наслаждаться всегда и т. д.

Как это примирить, чтобы всем нам было полезно (то есть приятно-полезно, а не поучительно-полезно)?

Если космополитизм и всеобщая польза есть не что иное, как фраза, уже начинающая

В наше время наводить скуку и внушать презрение, то про племенное чувство нельзя того же сказать.

Однообразно настроенное и блаженное человечество — это призрак и вовсе даже не красивый и не привлекательный, но племя, разумеется, — явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся сразу довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови. Язык? Но язык что такое? Язык дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. Антиевропейские блестящие выходки Герцена, читаемые на французском языке, производят более русское впечатление, чем по-русски написанные статьи «Голоса» и т. п.

Любить племя за племя — натяжка и ложь.

Другое дело, если племя родственное хоть чем-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами. Идея же национальностей в том виде, в каком ее ввел в политику Наполеон III, в ее нынешнем модном виде есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада. Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций — это все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука.

Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидającego, наций культурой не обособляющая: ибо культура есть не что иное, как своеобразие;[11] а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм гу-

бит индивидуальность людей, областей и наций.

Франция погубила себя окончательно этим принципом; по-дождем хоть немножко еще, что станется с Германией! Ее поздние лавры еще очень зелены, а организм едва ли моложе французского.

Кто радикал отъявленный, то есть разрушитель, тот пусть любит чистую племенную национальную идею; ибо она есть лишь частное видоизменение космополитической, разрушительной идеи.

Но тот, кто не радикал, тот пусть подумает хоть немного о том, что я сказал.



# Глава III

## Что такое славизм?

О твета нет!

Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие черты, какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, которые были бы общи всем славянам. Славизм можно понимать только как племенное этнографическое отвлечение, как идею общей крови (хотя и не совсем чистой) и сходных языков. Идея славизма не представляет отвлечения исторического, то есть такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссенции, все отличительные признаки, религиозные, юридические, бытовые, художественные, составляющие в совокупности своей полную и живую историческую картину известной культуры. Скажите: китаизм, китайская культура — всякому более или менее ясно. Скажите: европеизм, и, несмотря на всю сложность западноевропейской истории, есть некоторые черты общие всем эпохам, всем государствам Запада — черты, которых сово-

купность может послужить для исторической классификации, для определения, чем именно романо-германская культура, взятая во всецелости, отличалась и отличается теперь от всех других погибших и существующих культур, от японо-китайской, от исламизма, древнеегипетской, халдейской, персидской, эллинской, римской и византийской.

Частные цивилизации, англосаксонскую, испанскую, итальянскую, также нетрудно определить в совокупности их отличительных признаков. У каждой из этих частных цивилизаций была одна общая литература, одна государственная форма выяснилась при начале их цветения, одна какая-нибудь религия (католическая или протестантская) была тесно связана с их историческими судьбами; школа живописи, архитектурные стили, музыкальные мелодии, философское направление были у каждой свои, более или менее выработанные, ясные, наглядные, доступные изучению. Таким образом, не только германизм, англосаксонство, французская культура, староиспанская, итальянская культура времен Данте, Льва Х, Рафаэля и т. д., не толь-

ко, я говорю, эти отвлеченные идеи частных западных культур соответствуют явным историческим картинам, но и более общая идея европеизма, противопоставленная византизму, эллинизму, Риму и т. д., кажется от подобного сравнения ясной и определенной.

Так, например, если бы на всю Европу, с прошедшим ее и настоящим, смотрел какой-нибудь вполне беспристрастный и наиболее развитой человек не христианского исповедания, он бы сказал себе, что нигде он не видал еще такого сильного развития власти духовной (а вследствие того и политического влияния), как у одного старшего жреца, живущего в одном из южных городов, нигде прежде не видел бы он, быть может, такой пламенной, одушевленной религиозности у царей и народов, нигде такого нежного, кружевного, величественного и восторженного, так сказать, стиля в постройке храмов, нигде не видал бы он такого высокого, преувеличенного даже понятия о достоинстве личности человеческой, о личной чести, о самоуправляющейся нравственности, сперва в одном сословии, а потом и в других, нигде тако-

го уважения и такой любезности к женщинам и т. д. Потом увидал бы он атеизм, какого еще нигде не бывало, демагогию страшнее афинской демагогии, гонения повсеместные на прежде столь священного жреца, увидел бы небывалые нигде дотоле открытия реальной науки, машины и т. д. Итак, даже и столь общая идея европеизма ясна и соответствует одной, так сказать, органически связанной исторической картине. Где же подобная, ясная, общая идея славизма? Где соответственная этой идее яркая и живая историческая картина?

Отдельные исторические картины славянских государств довольно ясны (хотя в некоторых отношениях все-таки менее ярки и богаты своеобразным содержанием, чем отдельные исторические картины Франции, Германии, Англии, Испании); но где же общая связь этих отдельных, положим, и живых, при близком рассмотрении, картин? Она теряется в баснословных временах гостомыслов, пьестов, аспарухов, любушей и т. д.

Истории древнеболгарского и древнесербского царств очень бесцветны и ничего осо-

бенного, резко характерного, славянского не представляют: они очень скоро вошли в поток византийской культуры, «не бросивши векам ни мысли плодovitой, ни гением начатого труда»; а с падением Византийского государства пресеклась и их незрелая до своеобразно культурного периода государственная власть. Чехи? Чехи? О чехах говорить у нас очень трудно. У нас принято за правило говорить им всякого рода лестные вещи; [12] писатели наши считают долгом ставить чехов непременно выше русских. Почему? Я не знаю. Потому ли, что народ их грамотнее нашего; потому ли, что у них когда-то были благородный Гус и страшный Жижка, а теперь есть только «честные» и «ученые» Ригер и Палацкий? Конечно, чехи — братья нам; они полезны, не говорю, славизму (ибо, как я сказал, славизма нет), а славянству, т. е. племенной совокупности славян; они полезны как передовая батарея славянства, принимающая на себя первые удары германизма. Но, с точки зрения вышеприведенных культурных отличий, нельзя ли чехов вообще назвать прекрасным орудием немецкой фабрики, кото-

рое славяне отбили у немцев, выкрасили чуть-чуть другим цветом и повернули против Германии? Нельзя ли их назвать в отношении их быта, привычек, даже нравственных свойств, в отношении их внутреннего, юридического воспитания немцами, переведенными на славянский язык?

Если они братья, то зачем же с братьями эта вечная дипломатия, это гуманное церемониймейстерство, которое мешает называть вещи по имени? У нынешних чехов есть, пожалуй, самобытность, но вовсе нет своеобразия. Высшая ученость, например, есть большая сила, но уж, конечно, эта сила не исключительно славянская, она могла только способствовать к изучению, к пониманию древнеславянских, хоть сколько-нибудь своеобразных начал; но от понимания прошедшего и преходящего до творчества в настоящем и даже до прочного охранения еще целая бездна бессилия. Грамотность простого народа многие считают необычайным и несомненным благом; но ведь нельзя же сказать, что это благо есть открытие славян или что приобретение его славянам доступно более, чем

другим народам и племенам? «Краледворская Рукопись», «Суд Любуши» и т. п. — прекрасные вещи, но эти археологические драгоценности мало приложимы теперь к стране, в которой уже давно тесно, которая обработана по-европейски, где, за отсутствием родовой аристократии (она, как известно, онемечилась, хотя и существует), духом страны правит вполне и до крайности современно, по-западному правит ученая буржуазия. Где же Любуше найти себе тут живое место? Даже нравственными, личными свойствами своими чех очень напоминает немца, быть может с несколько южногерманским, более приятным оттенком. Он скромн, стоек, терпелив, в семейной жизни расположен к порядку, музыкант.[13] Политическая история сделала чехов осторожными, искусными в либеральной дипломатии. Они вполне по-европейски мастера собирать митинги, делать демонстрации вовремя и не рискуя открытыми восстаниями. Они не хотят принадлежать России, но крайне дорожат ею для устранения Австрии. Одним словом, все у них как-то на месте, все в порядке, все по-модному вполне.

Прибавим, что они все-таки католики и воспоминания о Гусе имеют у них, надо же согласиться, более национальный, чисто религиозный характер. Я не говорю, что это все непременно худо или что это невыгодно для славянства. Напротив того, вероятно, глубокая германизация не чувств и стремлений политических, а ума и быта национального была необходима чехам для политической борьбы против германизма.

Вставленной в германское море малочисленной славянской нации нужно было вооружиться *jusqu'aux dents*[14] всеми теми силами, которыми так богато было издавна это германское море; сохраняя больше древнеславянского в быте и уме, она, может быть, не устояла бы против более зрелых и сложных германских ресурсов.

Так как здесь главная речь идет не о том, что хорошо или что худо, а лишь о том, что особенно свойственно славянам, о том, что в них оригинально и характерно, то можно позволить себе такого рода рассуждение: если бы поражение гуситов, Белогорская битва и сдача Праги не сокрушили бы чешскую на-



цию и не подчинили ее на столько веков католицизму и немцам (т. е. Европе), то из соединения полуправославных, полупротестантских стремлений гуситства с коммунизмом таборитов и с мощью местной аристократии могло бы выработаться нечто крайне своеобразное и, пожалуй, славянское, уже по тому одному славянское, что такое оригинальное сочетание и примирение социализма с византизмом и феодальностью не было ни у кого видно дотоле.

Но история судила иначе, и чехи, войдя раньше всех славян и надолго в общий поток романо-германской цивилизации, раньше всех других славян пришли к ученому сознанию племенного славизма, но зато, вероятно, меньше всех других славян сохранили в себе что-либо бессознательно, наивно, реально и прочно существующее славянское.

Они подобны пожилому мужчине, который утратил силы плодотворные, но не утратил мужества и чувства. Они с восторгом создали бы, вероятно, что-нибудь свое, если бы могли, если бы одной учености, если бы одного хорошего знания начал и судеб славянских

было достаточно для творчества, для организации. Но увы! Ученый австрийский консул Хан, который, долго обитая в Эпире, записывал там греко-албанские старые и недавно созданные эпические песни эпиров, сам не творил их! А сочиняют их (и теперь еще, кажется, во всей их наивной свежести) горные папикары греки и арнауты, полуграмотные или безграмотные мужики в старых фустанеллах.

Своеобразное народное творчество (как показывает нам вся история) происходило совокупными действиями сознательных умов и наивных начал, данных жизнью: нуждами, страстями, вкусами, привязанностями, даже тем, что зовут обыкновенно невежеством. В этом смысле можно позволить себе сказать, что знание и незнание были (до сих пор, по крайней мере) равносильными двигателями исторического развития. Ибо под развитием, разумеется, надо понимать не одну ученость, как думают (опять-таки по незнанию) многие, а некий весьма сложный процесс народной жизни, процесс в значительной степени бессознательный и до сих пор еще не ясно постигнутый социальной наукой. У чехов, по-

вторую, очень сильно славянское сознание, но где у них, в Чехии и Моравии, богатство и прочность древних или, напротив того, вовсе новых славянских, чешских привычек, произведений, вкусов и т. д.? Все европейское! Итак, я не знаю, кто может отвергнуть то, что я выше сказал: Чехия есть орудие немецкой работы, обращенное ныне славянами против германизма.

Где же тут славизм? Теперь поговорим о болгарях.

Болгары воспитаны греками в том смысле, в каком чехи воспитаны немцами. Вера у болгар с греками одна, привычки схожи; религиозные понятия до последнего времени были одинаковы. В сельских обычаях, в поверьях, постройках и т. п. есть отличия, но эти отличия так невелики (кроме языка), что во многих отношениях между греком критским и греком эпирским, греком-кефалонитом и греком фракийским есть больше разницы бытовой и психической (личной то есть), чем между греком фракийским и болгаринем той же страны или между греком македонским и болгаринем. Это я говорю о сельском населе-

нии, которое еще гораздо резче отличается одно от другого, чем городское. Тотчас же по приезде моем на Восток умел я по физиономии, по приемам, по одежде отличить фракийского грека от эпирота и грека-островитянина, а потом и по характеру. Фракийский грек, сравнительно с островитянином и эпиротом (албанцем), робок, осторожен и тяжел, вообще не слишком красив, не особенно смугл, одет как болгарин. Островитянин (критянин, например) изящен, красив, отважен, горд, тонок и вместе добродушен, ласков; он и по чувствам, не только по виду, романтичнее и фракийского грека, и албанца; он моряк, наконец. Албанец или эпирот вообще некрасив, очень бледен, худ, но обыкновенно грациозен, самолюбив и подвижен донельзя, воинствен; романтизм его чисто военный; эротического романтизма у него нет. Критянин влюбляется, эпирот никогда. Народные песни Крита исполнены эротизма; песни Эпира сухи и строго воинственны. Вот какая разница! Различать же фракийского болгарина, я сознаюсь, в 10 лет не выучился. Кто виноват: я или данные самые, не знаю. Что касается до

городского населения, до лавочников, ремесленников, докторов, учителей и купцов, которые составляют так называемую интеллигенцию и у греков, и у болгар, то между ними нет никакой разницы. Те же обычаи, те же вкусы, те же качества и те же пороки. Крепкая, более или менее строгая семейственность, удаление женщин на второй план в обществе, во время соборищ и посещений, религиозность вообще более обрядовая, чем романтическая, и глубоко сердечная, если она искренна, или просто насильственная, лицемерная, для поддержания национальной Церкви примером, чрезвычайное трудолюбие, терпение, экономия, расположение даже к скупости, почти совершенное отсутствие рыцарских чувств и вообще мало склонности к великодушию. Демагогический и конституционный дух воспитан и в греках, и в болгарях, с одной стороны, бессословностью Турции (или крайне слабою сословностью, несравненно слабее еще русской сословности, выраженной даже и в старой Турции), а с другой — тем подавленным свободолюбием, которое болезненно развивается в народах завоеванных, но не слив-

шихся со своими победителями. Вообще, и у болгар, и у греков мы находим расположение к так называемому прогрессу в делах государственных и сильный дух охранения во всем, что касается семьи.

Выходит, что в политическом, государственном отношении и югославяне, и греки своим демагогическим духом больше напоминают французов, а в семейном отношении — германские народы; в этом отношении городские болгары и греки, очень схожие между собою, составляют как бы антитезу психическую с великороссами, которые в государственном отношении до сих пор больше подходили, по здравому смыслу и по духу дисциплины, к старогерманскому гению, а в домашних делах, по пылкости и распущенности — к романцам (которым большинство из нас и теперь продолжает в этом отношении сочувствовать, вопреки всем справедливым увещаниям и урокам строго нравственных людей!).

Итак, болгарин, психически похожий на самого солидного, терпеливого, расчетливого немца и ничуть не похожий на веселого, жи-

вого, более распущенного, но зато и более доброго, более великодушного великоросса, воспитан греками и по-гречески. Он точно так же орудие греческой работы, как чех орудие немецкой и точно так же обращен против новогречизма, как чех направлен против германизма. Сходство между чехами и болгарами есть еще и другое. Чехи — католики, но католицизм у них не представляет существенного цвета на народном политическом знамени, как, например, у поляков. Он имеет пока еще у многих лишь силу личных привычек совести, он имеет силу религиозную, без поддержки политической; напротив того, даже католицизм в политическом отношении связан у чехов с воспоминаниями горькими для национальной гордости, с казнью Гуса, с Белогорской битвой, с беспощадными распоряжениями императора Фердинанда II в 20-х годах XVII века. Демонстрации в честь Гуса, который боролся против католицизма, являются теперь в Чехии национальными демонстрациями. И у новых болгар, как у нынешних чехов, религия личной совести населения не совсем совпадает с религией нацио-

нального интереса. Большинство болгар этого еще, вероятно, не чувствуют по незнанию, но вожди знают это.

Подобно тому как чехи кончили свою средневековую жизнь под антикатолическими знаменами протестантства и гуситизма и возобновляют нынешнюю свою жизнь опять под знаменем последнего, болгары начинают свою новую историю борьбой не только против греков, но и против Православной Церкви, воспитавшей их нацию. Они борются не только против власти Греческой Константинопольской Патриархии, но и против нерушимости церковных, весьма существенных узаконений. Рассматривая же вопрос с русской точки зрения, мы найдем у них с чехами ту разницу, что движение чехов в пользу гуситизма приближает их хотя несколько к столь дорогому для нас византизму вселенскому, а движение болгар может грозить и нам разрывом с этим византизмом, если мы не остережемся вовремя.[15] Конечно, из нескольких народных праздников в честь Гуса, из нескольких личных обращений в православие нельзя еще заключить, чтобы чехи



склонялись к общему переходу в Церковь восточную. Мы не имеем права всегда слепо верить в то, что нам было бы желательно. Другое дело желать, другое верить. Но все-таки мы видим в этом старейшем по образованности славянском народе хотя и легкую, а все же благоприятную нашим основным началам черту. Мы не лишены прав надежды, по крайней мере.

У болгар же, напротив того, мы видим черту совершенно противоположную нашим великорусским основам. Самый отсталый, самый последний из возродившихся славянских народов является в этом случае самым опасным для нас; ибо только в его новой истории, а не в чешской, не в польской и не в сербской вступили в борьбу те две силы, которыми мы, русские, живем и движемся, — племенное славянство и византизм. Благодаря болгарам и мы стоим у какого-то Рубикона. Чтобы судить о том, чего может желать и до чего может доходить в данную пору нация, надо брать в расчет именно людей крайних, а не умеренных. В руки первых попадает всегда народ в решительные минуты. Умеренные же

бывают обыкновенно двух родов: такие, которые в самой теории не хотят крайностей, или такие, которые лишь на деле отступают от них. Мне кажется, что все умеренные болгарские вожди умеренны лишь на практике, но в идеале они все почти крайние, когда дело коснется греков и патриархии.

Народ болгарский прост (не то чтобы он простодушен или добродушен, как думают у нас, и не то чтобы глуп, как ошибочно думают иные греки, а именно прост, т. е. еще неразвит). Вдобавок он вовсе не так пылко и горячо религиозен, как простой русский народ, который вообще гораздо впечатлительнее болгарского. Народ болгарский, особенно по селам, я говорю, прост. Напротив того, малочисленная интеллигенция болгарская лукава, тверда, по-видимому, довольно согласна и образована греками же, русскими, европейцами и отчасти турками, именно настолько, насколько нужно для успешной национально-дипломатической борьбы. Этого рода борьба, пока дело не дошло до оружия, имеет в наше время какой-то механико-юридический характер и потому не требует ни философско-

го ума, ни высокого светского образования, ни даже обыкновенной дюжинной учености, ни воображения, ни возвышенных, героических вкусов и чувств. Хотя по всем этим перечисленным пунктам и новогреческая интеллигенция (за исключением патриотического героизма) занимает далеко не первостепенное место во вселенной, но болгарская, конечно, по незрелости своей и сравнительной малочисленности стоит еще много ниже ее, но это равенству борьбы не слишком мешает; это имеет свои выгоды и свои невыгоды. Простота же болгарских селян, я думаю, очень выгодна теперь для болгарского дела.[16]

Дело в том, повторяю, что народ болгарский и прост, и политически неопытен, и во все не так религиозен, как, например, русский простой народ. Это сознают все и на Востоке. Интеллигенция же его терпелива, ловка, честолюбива, осторожна и решительна. Например: заметивши зимою 71-го года, что стараниями русской дипломатии (так говорят здесь многие и даже иные более умеренные болгары) дело между Патриархией и болгарами идет ко взаимным уступкам, увидавши на

Вселенском Престоле Анфима, который прослыл до известной степени за человека, расположенного к болгарам, или к примирению, вожди крайнего болгаризма, доктор Чомаков (вероятно, материалист), какой-то поэт Славейков и, вероятно, еще другие лица из тех солидных и богатых старшин, которые и у греков, и у югославян так влиятельны благодаря отсутствию родовой и чиновной аристократии и т. п., люди уговорили и принудили известных болгарских архиереев Илариона, Панарета и др. стать открыто против Вселенского Патриарха и прервать с ним всякую связь. Они решились просить, ни с того ни с чего, позволения у Патриарха, ночью, под 6 января, разрешения отслужить на Крещенье поутру свою особую болгарскую литургию, в виде ознаменования своей церковной независимости. Они предвидели, что Патриарху греки не дадут согласиться на это и что, наконец, и трудно вдруг, в несколько часов, ночью, второпях, решиться на такой важный шаг, дать позволение служить архиереям, которые были низложены Церковью и находятся теперь в руках людей, Церкви враждебных.

Чомаков и К° знали, что будет отказ, и требовали настойчиво разрешения, чтобы в глазах несведущих людей сложить всю вину на греков: «Греки нам не дают воли: чем же мы виноваты?»

Чомаков и К° знали, что они поставят этим поспешным требованиям Патриарха между Сциллой и Харбидой. Если, паче чаяния, Патриарх благословит, то этим самым вопрос разрешен, Фирман султанский в пользу болгар признан Церковью, хотя в нем и есть вещи, дающие повод к новым распрям. Если же Пат-Риарх откажет: «сoup d'etat» народный, и «Бог даст» и раскол!

И Патриарх отказал. Этого только и желала крайняя болгарская партия. Она понимала многое; она знала, например, что прямо на опытную русскую дипломатию повлиять ей не удастся.

Она знала, с другой стороны, до чего заблуждаются многие греки, воображая, что болгары ни придумать ничего не умеют, ни сделать ничего не решатся без указания русских. Она предвидела, что греки все это припишут русским. Болгарская крайняя партия

предвидела, какое бешенство против русских возбудит в греках поступок болгар 6 января и какие препирательства начнутся после этого между греками и русскими.

Агитаторы болгарские предвидели, в какое затруднение поставят они и Синод, и дипломатию русскую. Они думали, сверх того, что для Турции выгодны и приятны будут эти распри.

К тому же у греков кто в России? Купцы или монахи за сбором денег, люди не популярные. У болгар в России студенты, профессора и т. п. люди, которые стоят ближе греков к печати русской, к влиятельным лицам общества мыслящего, к прогрессу, к моде, к дамам Москвы!

Студенты плачут о бедствиях угнетенного, робкого, будто бы простодушнейшего в свете народа. Жинзифовы, Дриновы и подобные им пишут не особенно умно, но, кстати, и осторожно...

Греки объявляют схизму. Греки в исступлении бранят русских, и русские отвечают им тем же... Турки, улыбаясь, склоняются то в ту, то в другую сторону... Это и нужно было бол-

гарам.

«На русскую дипломатию, на русский Синод мы прямо действовать не в силах (сказали болгары): мы подействуем лучше на общество, менее опытное, менее понимающее, менее связанное осторожностью, а общество русское повлияет, может быть, потом косвенно и на Двор, и на Синод, и на здешнюю дипломатию... Когда нет сил поднять тяжесть руками, употребим какой-нибудь более сложный, посредствующий снаряд!»

Так думали, так еще думают, конечно, болгарские демагоги. И будущее лишь покажет, вполне ли они все предвидели, или успех их был только временный. Болгарские демагоги не ошиблись, однако, во многом. Многие они предвидели верно и знали обстоятельства хорошо. Например, они знали очень хорошо вот что: во-первых, что национальная идея ныне больше в моде, чем строгость религиозных чувств, что в России, например, всякий глупец легче напишет и легче поймет газетную статью, которая будет начинаться так: «Долголетние страдания наших братьев славян под игом фанариотского духовенства», чем

статья, которая будет развивать такую мысль: «Желание болгар везде, где только есть несколько болгарских семейств зависеть не от местного ближайшего греческого архиерея, а непременно от болгарского — потому только, что он болгарский, есть само по себе желание схизмы, раскол, совершенное подчинение церковных правителей придиричивому национальному фанатизму. Это желание — поставить себя между греками в положение столь же особое, как положение армян, католиков, протестантов, русских старообрядцев и т. п. В Солуни, Битолии, Адрианополе и других городах, по древним христианским правилам, не могут быть два православных епископа вместе, а могут быть армянский и греческий (т. е. православный), католический и т. д. Эти люди (Чомаков и К°) очень хорошо знают все эти правила; они мудры как змии; но им дела нет до незыблемости православия. Если они дорожат им несколько, так разве только потому, что оно нашлось под рукою, в народе, а не другая религия. Менять же явно религию неудобно, потому что в среде простого народа может произойти разрыв, а народа



всего не очень много, около 5 миллионов, положим. И больше ничего».

Итак, болгарский народ, увлекаемый и отчасти обманутый своими вождями, начинает свою новую историю борьбой не только противу греков, но, по случайному совпадению, и противу Церкви и ее канонов.

У грека все национальные воспоминания соединены с православием. Византизм как продукт исторический принадлежит греку, и он, сознавая, что в первоначальном созидании Церкви принимали участие люди разных племен: итальянцы, испанцы, славяне, уроженцы Сирии, Египта, Африки, помнит, однако, что преимущественно на эллинском языке, с помощью эллинской цивилизации строилось сложное и великое здание догмата, обряда и канона христианских и что без сложности этой, удовлетворяющей разнообразным требованиям, невозможно было бы и объединить в одной религии столь разнородные элементы: племенные, сословные, умственные, и на столь огромном пространстве! Последнее возрождение грецизма и революция 20-х годов совершились также под знаме-

нем православия; ребенок греческий слышит об этом в песнях детства.

«Диату Христу тин пистин тин агиан!» — поет грек. А христианство, «Святая Христова Вера» (Писти агиа ту Христу) для грека не значит голая и сухая утилитарная нравственность, польза ближнего или так называемого человечества. Христианство для грека значит Православие, догматы, канон и обряд, взятые во всецелости.

Неверующий грек и тот за все это держится, как за народное знамя. У болгарина, напротив того, половина воспоминаний, по крайней мере, связана с борьбой против византизма, против этих православных греков. У болгарского патриота в комнате, рядом с иконой православных Кирилла и Мефодия, обучавших болгар славянской национальной грамоте (это главное для них, а не крещение), вы видите обыкновенно язычника царя Крума, которому подносят на мече голову православного греческого царя.

Ликург, епископ Сирский, посещая в 73-м году Афон, заехал и в богатый болгарский монастырь Зограф, которого монахи с Патриар-

хией связь прерывать не желали, а вели себя очень осторожно между своими болгарскими комитетами и цареградской иерархией. Однако и у них в приемной Ликург увидел портреты отверженных Церковью болгарских епископов. На его вопрос: «Почему они держат их в почете?» — «Они имеют для нас национальное значение», — ответили ему сухо болгарские монахи. Такова историческая противоположность греков и болгар с точки зрения православия. У греков вся история их величия, их падения, их страданий, их возрождения связана с воспоминанием о православии, о византизме. У болгар, напротив того, только часть; а другая часть, и самая новейшая, горячая, модная часть воспоминаний, в следующем поколении будет связана со скептическим воспитанием, с племенным возрождением, купленным ожесточенной борьбой против Церкви, против того византийского авторитета, который, если присмотреться ближе, составляет почти единственную, хоть сколько-нибудь солидную, охранительную силу во всей восточной Европе и в значительной части Азии. Если сравнить друг с другом

все эти удачно возрождающиеся, либо неудачно восстающие в XIX веке мелкие или второстепенные народы, то окажется, что ни у одного из них: ни у чехов, ни у сербов, ни у поляков, ни у греков, ни у мадьяр — нет такого отрицательного, такого прогрессивного знамени, как у этих отсталых, будто бы невинных и скромных болгар.

Начало истории кладет всегда неизгладимую печать на всю дальнейшую роль народа; и черта, по-видимому, не важная, не резкая вначале, разрастаясь, мало-помалу принимает с течением времени все более и более грозный вид. Для нас же, русских, эта черта, эта органическая особенность новоболгарской истории тем более важна, что болгары случайным и отчасти для большинства их самих неожиданным поворотом дела вступили в борьбу не с авторитетом каким бы то ни было, а именно с тем авторитетом, который для России так дорог, именно с той Вселенской Церковью, правила и дух которой создали всю нашу великорусскую силу, все наше величие, весь наш народно-государственный генний. Дело не в том, сознательно ли все болга-

ры вступили на этот отрицательный, разрушительный путь или нет. Горсть людей, Руководящих сознательно, сказала себе и говорит теперь во всеуслышание: «Пока не объединим весь народ от Дуная до последнего македонского села, нет уступок никому, нет примирения. Нам никто не нужен, кроме султана. И мы будем сектантами скорее, чем уступим хотя что бы то ни было!» Но большинство, конечно, обмануто, увлечено и не может даже представить себе всех последствий подобного насильственного разрыва с Восточными церквами.

Положим так, большинство не виновато; но дело идет здесь не о нравственной свободной вменяемости, а о полуневольном, трудно-исправимом политическом направлении народной жизни.

Народ послушался своих вождей, поэтому и он ответственен; иначе нельзя было бы и войн вести, и восстания усмирять. Вот в чем дело! У болгар поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смысле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание, и чем дальше, тем сильнее. Повторим

еще раз, что отрицание болгарское относится именно к тому авторитету, который правит уже несколько веков самой великой силой славянства — русским государством.

Что бы случилось со всеми этими учеными и либеральными славянами, со всеми этими ораторами и профессорами, Риге-рами, Палацкими, сербскими омладинами, болгарскими докторами, если бы на заднем фоне картины не виднелись бы в загадочной дали великорусские снега, казацкие пики и топор православного мужика бородатого, которым спокойно и неторопливо правит полувизантийский царь-государь наш!? Хороши бы они были без этой пики и этого топора, либералы эти и мудрецы мещанского прогресса!

Для существования славян необходима мощь России. Для силы России необходим византизм.

Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапывается, сам, быть может, и не понимая того, под основы русского государства. Тот, кто воюет против византизма, воюет, сам не зная того, косвенно и противу всего славянства; ибо что такое племенное славянство

без отвлеченного славизма?..

Неорганическая масса, легко расторгаемая вдребезги, легко сливающаяся с республиканской Всеевропой!

А славизм отвлеченный, так или иначе, но с византизмом должен сопрячься. Другого крепкого дисциплинирующего начала у славян разбросанных мы не видим. Нравится ли нам это или нет, худо ли это византийское начало или хорошо оно, но оно единственный надежный якорь нашего не только русского, но и всеславянского охранения.

# Глава IV

## Что такое славянство? (Продолжение)

Я сказал о чехах и о болгарях, остаются еще словаки, сербы, поляки, русские. Словаков этнографически причисляют обыкновенно к чешской нации, но исторически они связаны с мадьярами, с судьбами Угорского царства и культурно, конечно, так проникнуты мадьярскими бытовыми началами, что их, в отношении быта и привычек, можно назвать мадьярами, переведенными на славянский язык, [17] точно так же, как чехи, по всей организации своей, переведены с немецкого, а болгары, по воспитанию своему до последнего времени, переведены с греческого языка на славянское наречие.

Теперь о сербах. Ни один из славянских народов не раздроблен так и политически, и культурно, как сербский народ.

Болгары все райя султана, все считают себя и теперь православными; все до последнего времени были воспитаны греками и по-



гречески. Поляки все католики, все дети собственной падшей польской цивилизации, польской государственности. Хотя они политически и разделены между тремя государствами, но все те из них, которые не онемечились и не обрусели (т. е. большинство), схожи между собою по историческому воспитанию: и вельможи, и шляхта, и крестьяне; шляхта и крестьяне могут мало походить друг на друга; но я говорю о том, что шляхта в России похожа на шляхту в Австрии, что крестьяне польские, по всему пространству прежней собственной Польши, тоже более или менее схожи между собою. Чехи с моравами тоже довольно однородного исторического воспитания. Что касается до сербов, то они разделены в государственном отношении, во-первых, на 4 части: 1) независимое княжество; 2) Черногория; 3) турецкие владения (Босния, Герцеговина и Старая Сербия) и 4) австрийские владения (словинцы, хорваты, далматы и т. д.).

Они разделены еще и на три половины по религии: на православную, католическую и мусульманскую.

У православных сербов две царствующие

династии, в Белграде и Цетинье. Племя их довольно равномерно разделено пополам еще и географически Дунаем и большими горами; на северо-западе — австрийские сербы, на юго-востоке — турецкие.

Австрийские сербы, сверх того, разделены между собою историей, хорваты соединены политически с Угрией и теперь более еще, чем прежде, по причине дуализма. Словинцы и далматы находятся под непосредственным влиянием залитавских немцев. Это в административном отношении. По воспитанию вообще хорваты естественно имеют в себе мало мадьярского, хотя их роль и характер менее аристократические, чем у настоящих мадьяр. Далматы долго были под культурным влиянием Италии, да и теперь еще под ним находятся.

Граничары имеют в привычках своих и в организации много казацкого. У них до последнего времени хранилась своеобразная община (сербская задруга). При такой несоразмерной с численностью народа разнородности исторического воспитания сербы не только не могли выработать у себя каких-нибудь

новых характерных и особенных культурных признаков славизма (юридических, религиозных, художественных и т. д.), но стали утрачивать в последнее время и те славянские особенности, которые у них существовали издревле. Они до сих пор не только не явились творцами чего-либо новославянского, но были и слабыми хранителями древнесербского, своего. Они не довольствуются в княжестве старой скупщиной в одну палату, а стремятся утвердить у себя две законодательные камеры, по демократическим западным образцам. Они бросают вовсе свои живописные одежды и пляски; военные одеваются почти по-австрийски, штатские и женщины по общеевропейским образцам. Убичини уже давно писал, что сельская коммунистическая задруга у турецких славян распадается постепенно, под влиянием того демократического индивидуализма, того безграничного освобождения лица от всех стесняющих уз, к которому стремится, с половины прошлого века, образованный по-европейски мир.

В Австрии славянский охранительный коммунизм граничар поддерживался до по-

следнего времени преимущественно интересами немецкого монархического правительства.

По мере большего увлечения самой официальной Австрии на путь либерального всераспоржения и всесмещения стала больше и больше расшатываться и эта знаменитая славянская коммуна. Немцы из собственных выгод были долго лучшими хранителями древнеславянских особенностей.

Я здесь, точно так же, как по делу чехов, не убеждаю никого находить сразу, что это худо. Я только заявляю данные, чтобы подтвердить ими ту общую мысль мою, что есть славянство, но что славизма, как культурного здания, или нет уже, или еще нет; или славизм погиб навсегда, растаял, вследствие первобытной простоты и слабости своей, под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама, мадьяров, Италии и т. п., или, напротив того, славизм не сказал еще своего слова и таится, как огонь под пеплом, скрыт незримо в аморфической массе племенного славянства, как зародыш архитектуры живого организма в сплошном

желтке, и не доступен еще простому глазу.

Быть может, все быть может! Но кто угадает теперь особую форму этого организованного, проникнутого общими идеями, своими мировыми идеями, славянства? До сих пор мы этих общих и своих всемирно-оригинальных идей, которыми славяне бы отличались резко от других наций и культурных миров, не видим. Мы видим вообще что-то отрицательное, очень сходное с романо-германским, но как-то жиже, слабее все, беднее. Это горько и обидно! Но разве это неправда?

Мы видим только общие стремления, отчасти общие племенные интересы и действия, но не видим общих своеобразных идей, стоящих выше племенного чувства, порожденных им, но после вознесшихся над племенем, для вящего всенародного, ясного руководства и себе, и чужим (человечеству). Славянство есть, и оно численностью очень сильно; славизма нет, или он еще очень слаб и не ясен.

Мне возразят, что племенное чувство славянства, сближая славян письменно и политически между собою, может способствовать выработке этого культурного славизма, этой

органической системы своеобразных идей, стоящих вне частных, местных и личных интересов и над ними, но глубоко, тысячами корней связанных с этими интересами.

Я отвечу, что это возможно и даже крайне желательно; ибо вовсе нелестно быть тем, чем до сих пор были все славяне, не исключая даже русских и поляков: чем-то средне-пропорциональным, отрицательным, во всем уступающим духовно дру-гам, во всем второстепенным.

Бывают примеры, что подобная отрицательность становится залогом чего-либо крайне положительного в сумме именно потому, что оно было не совсем то, не совсем так характерно и резко, как у других, дай Бог!

Но вопрос здесь, во-первых, именно в том, что такое будет этот над славянством взвинченный славизм? Какие особые юридические, государственные идеи послужат к политическому сближению и приблизительному объединению славян? А во-вторых, в том, выгодны ли будут эти общеславянские идеи для русского государства, усилят ли они его мощь или будут способствовать его падению? Укре-

пят ли они его вековое здание, купленное нашими трудами, кровью и слезами? Или растворят они его почти бесследно в этой бледной и несолидной пестроте современного неорганического славянства?

Вот два вопроса! И, в сущности, эти два вопроса лишь две стороны одного и того же.

Если славяне призваны к чему-либо творческому, положительному, как особый ли мир истории или только как своеобразная часть европейской цивилизации, и в том, и в другом случае им нужна сила.

Сила государственная выпала в удел великороссам. Эту силу великороссы должны хранить, как священный залог истории, не только для себя, но и для всеславянской независимости.

Быть может, со временем для пособия самой Европе, против пожирающей ее медленной анархии.

И таким образом для всего человечества.

# Глава V

## Продолжение о славянах

О Польше и России можно и не говорить здесь подробно. О противоположностях их истории, об относительном своеобразии их государственных организаций, об их долге, естественном и неотвратимом антагонизме у нас так много судили и писали в последнее время, что все русские люди, и не занимавшиеся особенно политикой, знакомы теперь с этими вопросами не-дурно в общих, по крайней мере, чертах. Из всех славян только поляки и русские жили долго независимой государственной жизнью, и потому у них и накопилось, так сказать, и удержалось больше своего собственного, чем у всех других славян (повторяю еще раз, что я не настаиваю здесь, худо ли или хорошо это собственное; я только заявляю, напоминаю реальные данные).

Уже одно существование своего национального дворянства и у поляков, и у русских отличает их резко от всех других славян. Русское служилое сословие и польская шляхта



очень несходны своей историей; они лишены теперь почти всех своих существенных привилегий, но впечатления исторического воспитания в детях этих двух сословий проживут еще долго. Аристократии истинно феодальной, наподобие западноевропейской, не было ни у поляков, ни у русских; аристократии, в смысле какого бы то ни было резко привилегированного класса, у них теперь вовсе нет, ни у русских, ни у поляков; есть нечто общее, несмотря на все их противоположности и несогласия: это сословное воспитание нации, которого следы слабее у австрийских славян и которого вовсе нет в нравах у славян турецких. Это будет яснее из сравнения.

Польское дворянское сословие, вельможи и шляхта, остаются до сих пор представителями своей нации: они свершают все национальные движения полонизма. В России дворянство было гораздо слабее: оно зависело от монархии настолько, насколько в Польше монархия зависела от дворянства. Народ в России чтит дворянство только как сословие царских слуг, а не само по себе. Мы привыкли

зря шутить над бюрократией, а народ наш смотрит на нее серьезно, не комически, а трагически или героически. За границей мундир чиновника русского глубоко радует русского простолюдина. Это я на себе и на других испытал. Но руководиться во всем дворянством своим наш народ не привык; например, в религиозных вопросах он уже потому не слушает нас никогда, что мы господа, люди другого класса, другого воспитания. Бедного дворянина Базарова русские крестьяне не признавали своим, а ученого Инсарова простые болгары слушались; ибо он был кость от костей их, такой же болгарский мужик, как и они, но более мудрый. То же и у сербов. Чешская аристократия не связала своих имен с народным делом нашего времени. Она делает оппозицию Вене тогда, когда замечает в ней демократические наклонности. Знамя чешской знати более австро-феодалное, чем собственно чешское, во что бы то ни стало. Буржуазные вожди неочехизма выходят из народа. Вообще югославы очень легко переходят, в быту и общих понятиях своих, из простоты эпической в самую крайнюю простоту современ-

менной либеральной буржуазности. Все они, между прочим, вырастают в слепом поклонении демократической либеральной конституции. Австрийские славяне привыкли действовать без помощи аристократии или какого бы то ни было дворянства, ибо в одном месте господами у них были немцы, в другом мадьяры, в третьем онемеченные или омадьяренные славяне, в четвертом враждебные поляки (как, например, у малороссов в Галиции).

Они, особенно в делах чисто славянских, привыкли руководиться национальной буржуазией, профессорами, учителями, купцами, докторами и отчасти священниками, которые, впрочем, во всех подобных вопросах мало чем отличаются от людей светских.

У турецких славян отсутствие сословного воспитания еще заметнее, ибо привилегированное сословие представляли и представляют еще до сих пор в Турецкой империи мусульмане, люди вовсе другой веры, которые не слились с завоеванными христианами.

Уравнение, конечно, в Турции сравнительно с прежним огромное; у мусульман против прежнего осталось очень мало привилегий, и

те скоро падут; но реформы нынешние состоят не в том, чтобы часть христиан возвысить до положения турок и дать им привилегии относительно других соотчичей их, но в том, чтобы турок приравнять к христианам, в том, чтобы прежнюю, все-таки более аристократическую монархию, в которой все турки, равные между собою, составляли один класс — высший, а все христиане составили класс зависимый — низший, чтобы эту аристократическую и весьма децентрализованную прежнюю монархию превратить в эгалитарную и централизованную, в том, чтобы какую-то Персию Кира и Ксеркса, полную разнообразных сатрапий, обратить в гладкую Францию Наполеонидов. Таков идеал современной Турции, к которому она иногда и против воли стремится, вследствие давления внешних обстоятельств. Итак, у славян турецких нет ни в прошедшем, ни в настоящем (ни в будущем, вероятно) никаких ни воспоминаний, ни следов, ни залогов, ни аристократического, ни общего монархического воспитания. Гораздо менее еще, чем у австрийских. У болгар делами правит доктор, купец, адвокат, обучав-

шийся в Париже, учителя. Епископы же болгарские совершенно в руках этой буржуазии. Буржуазия эта, вышедшая отчасти из городского, отчасти из сельского народа Болгарии дунайской, Фракии и Македонии, пользуется, как видно, полным доверием народа. Эти люди: доктора, купцы и т. п. — конечно, лично сами от деспотизма греческих епископов не страдали; они действуют из побуждений патриотических, национальных, но их патриотические идеи, их национальный фанатизм, их желание играть роль в империи, в Европе, быть может, и в истории, совпали как нельзя лучше с тем неудовольствием, которое справедливо мог иметь простой болгарский народ против прежних греческих иерархов, сурово, по духу времени, обращавшихся с народом.

[18]

Лет 20–15 подряд болгарские доктора, учителя, купцы твердили ежедневно народу своему одно и то же против греков; молодое поколение все выросло в этом искусственно раздутым чувстве; народ привык, проснулся, но верил, что ему будет лучше без греков; свое духовенство, избранное буржуазией и руково-

димое ею, оказалось, конечно, во многом для народа лучше греческого. Лучшим оно оказалось не потому, чтобы по нравственному воспитанию оно было выше или по каким-нибудь славянским душевным качествам, особенно мягким и хорошим. Вовсе нет. Воспитание нравственное у болгар и у греков, в глазах свежего, искреннего с самим собою человека, почти одно и то же (и это почти вовсе не в пользу болгар; у греков несколько более романтизма, теплоты); а психически не надо воображать себе упорного, тяжелого, хитрого болгарина похожим на добродушного, легкомысленного великоросса; они так же мало похожи друг на друга в этом отношении, как южный итальянец и северный немец, как поэт и механик, как Байрон и Адам Смит. Болгарское духовенство вело и ведет себя против народа лучше, чем вело себя греческое, лишь потому, что оно своевольно создано самим этим народом, что у него вне народа нет никакой точки опоры.

У русского духовенства есть вне народа могучее правительство. Греческое духовенство Турции более нашего, быть может, свободное

со стороны административного влияния, менее нашего зато свободно от увлечений и страстей демагогии, от тех поспешных и неисправимых ошибок, к которым так склонны, особенно в наше время, толпы, считающие себя просвещенными и умными. Это так. Но все-таки греческое духовенство привыкло издавна к власти, имеет древние, строгие предания Вселенской Церкви, за которые крепко держится, и наконец, в иных случаях может найти официальную поддержку то в турецком, то в эллинском правительствах, как нечто давно признанное и крепко организованное. Новое же болгарское духовенство, не имея около себя могучего единоговерного правительства и начиная свою жизнь прямо борьбой против преданий, находится поэтому вполне в руках болгарского народа. И вследствие этой полной зависимости от толпы оно ведет себя не то чтобы лучше (это смотря по точке зрения), а удобнее народу, несколько приятнее для мужика и выгоднее для честолюбия архонта болгарского, чем вела себя вне болгарской нации стоявшая греческая иерархия. Что касается до лучшего и до худшего, то

примеры на глазах. Болгарская буржуазия могла заставить своих епископов быть помягче, чем были нередко греческие, с селянами. Это, быть может, лучше; но болгарская же буржуазия принудила своих епископов отслужить литургию 6 января и отложиться от Патриарха, вопреки основным, апостольским уставам церкви. Это худшее. Я хочу всем этим сказать, что хотя болгарская нация не сложилась еще ни в отдельное государство, ни даже в полугосударственную область, с определенной какой-нибудь автономией,[19] но политические и социальные контуры этой новой нации видны уже и теперь. Физиономия ее — крайне демократическая; привычки, идеалы крайне эмансипационные.[20]

Решись завтра султан на этот дуализм, которого бы желали иные пылкие болгары, объяви он себя султаном турецким и «царем болгарским», вся область от южных границ до Дуная устроилась бы скоро и легко с каким-нибудь Советом во главе крайне демократического характера и происхождения. Подобно Соединенным Штатам и Швейцарии, никто и ничто не будет стоять вне народа,



кроме идеального и спасительного от соседей султанского верховенства. «Это избавило бы нас от всякой иноземной династии, и так как республика есть наилучшая форма правления, к которой стремится вся образованная Европа, то даже не очень долгое время легкая подручная зависимость от султана для нас была бы лучше всего; можно будет народ приучить до поры до времени даже сражаться охотно за султана. Мы же с турками несомненно одной почти крови. Это невелика беда! А на религию кто через 10–20 лет будет смотреть? Религия — удел невежества; обучим народ, и он все поймет. Под охраной безвредного султанского знамени нация созреет прямо для республики и из самой отсталой станет самой передовой нацией Востока!»

Вот что говорят себе не все, конечно, но самые смелые и энергичные болгары. Быть может, и воспитанники наших русских училищ не прочь от этого. Я, впрочем, говорю, быть может... Вообще надо глубоко различать то, что говорят болгары в России и при русских, и то, что они думают и говорят в Турции. Прибавим же вот что о Турции: хотя за последнее

время обстоятельства внешней и внутренней политики были довольно благоприятны ей, но она все-таки очень расстроена и слаба.

Предположим же, что, паче чаяния, турецкое владычество в Европе пало скорее, чем мы ждем и даже желаем того, и допустим, что соседи болгарам устроить республику не позволили; в таком случае они пожелают иметь монархию с самым свободным устройством, с самой ничтожной номинальной властью. Такова, по крайней мере, теперь их политическая физиономия.

Сербы, нечего и говорить, все демократы; и у них эпическая патриархальность переходит как нельзя лучше в самую простую буржуазную утилитарность. У них есть военные и чиновники, сверх докторов и купцов и т. д. Но чиновники и военные нигде не составляют родового сословия, которое воспитывало бы своих членов в определенных впечатлениях; они набираются где попало, и между ними могут быть люди всякого образа мыслей. Вчерашний чиновник или военный завтра свободный гражданин и член оппозиции или даже явный предводитель бунта. Как воспитана

вся интеллигенция сербская, так воспитаны и служащие правительству люди. Залогов для неограниченной монархии мы в Сербии не видим. Сербь не сумели вытерпеть даже и того самовластия, с которым патриархально хотел управлять ими их освободитель и национальный герой старый Милош. Еще при высшей степени патриархальности народной жизни они уже захотели конституции и взбунтовались. История показывает даже, что революции, которые низвергли Милоша, возвели на престол Александра Карагеоргиевича, а потом низвергли этого последнего опять в пользу Обреновичей, были революциями чиновничьими. Это была борьба бюрократических партий за преобладание и власть.

Итак, повторяю, у сербов нет, по-видимому, залогов для крепкой монархии. Что касается до какой бы то ни было аристократии родовой, до какого бы то ни было дворянства, то в Сербии нет и следов ничего подобного. «Всякий серб — дворянин!»[21] — говорит с гордостью серб. Это шляхетское чувство собственного достоинства, распространенное на весь народ. В турецких провинциях сербского пле-

мени было до последнего времени местное мусульманское дворянство славянской крови; но оно численностью ничтожно, и обстоятельства ведут Турцию все больше и больше ко всеобщему уравниванию прав, и сами эти беи босанские, начиная несколько более противу прежнего сознавать свое славянское происхождение, скоро впадут в совершенное бессилие от внутреннего разрыва, от противоположных влияний народности и мусульманизма на их совесть и на их интересы.

Вообще этот дворянский элемент мусульманства славянского не важен. Черногория, быть может, очень важна в стратегическом отношении для славян в случае борьбы с Турцией или с Австрией, но политически она так мала и государственно так проста и патриархальна, что о ней можно бы здесь и вовсе не говорить.

Дворянского элемента здесь тоже нет; воспитания аристократического и тем более; власть князя очень ограничена. Черногорцы привыкли к самоуправству, которому так же не грудно перейти в демократическое самоуправление, как воинственному горцу стать в

наше время горцем утилитарным и буржуазным, из юнака или паликара сделаться, и не подозревая ничего, самоуверенным демагогом-бюргером. Орлиное гнездо Черногории очень легко может стать каким-нибудь славянским Граубинденом или Цюрихом.

Итак, мы видим: 1) что ни у чехов, ни у хорватов и далматов, ни у русских Галиции, ни у сербов православных, ни у болгар, ни у черногорцев нет теперь никакого прочного и национального привилегированного класса; 2) что у всех у них почти нет вовсе ни аристократических преданий, ни сословного воспитания; 3) что австрийские славяне во всех делах собственно славянских руководятся национальной буржуазией, купцами, учителями, докторами, писателями и т. д.; ибо у чехов старые дворянские роды не соединили, подобно польским вельможам, своих имен и своих интересов с делом национальной оппозиции; оппозиция чешской знати, как я уже сказал выше, имеет феодальную цель. Словаки смешаны с мадьярами, трудно отделимы от них даже умственно; если же и отделимы умственно от общеуторской жизни, то разве в

виде элемента более демократического, чем элемент мадьярский; у русских Галиции аристократия — враждебные им поляки и т. д.; 4) что у турецких славян следы аристократического начала и сословного воспитания еще гораздо слабее, чем у австрийских, и что вообще в Турции все христиане — и славяне, и греки — очень легко переходят из патриархального быта в буржуазно-либеральный, из героев Гомера и Купера в героев Теккерея, Поля де Кока и Гоголя; 5) ни у чехов, ни у хорватов, ни у сербов, ни у болгар нет в характере той долгой государственной выправки, которую дает прочное существование национальной популярной монархии. Они и без парламента все привыкли к парламентарной дипломатии, к игре разных демонстраций и т. п. У всех у них уже крепко всосались в кровь привычки и предрассудки так называемого равенства и так называемой свободы.

Одним словом, общий вывод тот, что, несмотря на всю разнородность их прежней истории, несмотря на всю запутанность и противоположность их интересов, несмотря на раздробленность свою и на довольно боль-

шое, хотя и бледное, разнообразие тех уставов и обычаев, под которыми они живут еще и теперь в Австрии и Турции (включая сюда, по их малости, и оба княжества, Сербию и Черногорию), все юго-западные славяне без исключения демократы и конституционалисты. Черта, общая всем, при всей их кажущейся бледной разнородности, это — расположение к равенству и свободе, т. е. к идеалам или американскому, или французскому, но никак не византийскому и не великобританскому. Разделять их может очень многое: 1) Религия (католичество, православие, мусульманство в Боснии, быть может, раскол у болгар, если он устоит). 2) Географическое положение и через это торговые и другие экономические интересы; так, например, в настоящее время австрийским подданным выгодна свобода торговли в Турции и свободный ввоз австрийских мануфактурных контрафакций. А турецкие подданные, и славяне, и греки, постоянно на это жалуются и желали бы системы покровительственной для укрепления и развития местной промышленности. 3) Некоторые исторические и военные предания. Так, напри-

мер, у сербов вся ненависть в народе сосредоточена на турках и немцах; против греков они почти ничего не имеют, а с болгарами и говорить даже разумно о греках нельзя. Православные сербы Турции привыкли смотреть на немцев (Австрии), как на самых опасных врагов, а католические сербы Австрии (хорваты, далматы и др.) привыкли сражаться под знаменами Австрийского государства. 4) Интересы чисто племенного преобладания. Например, болгары, пользуясь тем, что они турецкие подданные, пытаются уже и теперь, посредством своего духовенства и своих учителей, оболгарить старую Сербию (провинцию турецкую, лежащую к югу от княжества). Сербы княжества хотят отстаивать свою нацию в этой стране против болгар, но им не так удобно действовать, как болгарам, ибо последним помогает, как своим людям, турецкая власть. Сербам, сверх того, не может слишком нравиться быстрое политическое созревание болгарской нации. В статье моей «Панславизм и греки» я старался доказать, что сохранение Турции может казаться одинаково выгодным как для крайних греков,



так и для крайних болгар, ибо болгаре хотят еще укрепиться под духовно-безвредной для них властью турок, а крайние греки хотели бы соединиться с турками на Босфоре против панславизма.

Сербы в другом положении. Церковной распри у них с греками нет; а болгар им бы удобнее было застать врасплох, без войска, без столицы, без опытных министров, без династии, без сильного народного совета и т. д. Сербам турки и Турция менее нужны, чем болгарам и грекам. Понятно, что крайний грек и крайний болгарин, оба для пользы, для охраны своей национальности, могут считать полезным продление турецкого владычества, но крайний, пылкий серб воздерживается от нападения на Турцию лишь из осторожности, из соображений скорее военных, чем собственно политических.[22]

Не охрана национальности, а сознание сравнительно военного бессилия своего — вот что удерживает Сербию постоянно от несвоевременной войны с Турцией. Сербии очень было бы желательно стать славянским Пиемонтом как для австрийских, так и для ту-

рецких славян. И правда, что положение Сербии очень похоже во многих отношениях на положение прежнего Пиемонта. Малые размеры ничего не значат сами по себе: и Рим был мал, и Бранденбург был мал, и Московское княжество было невелико. Нужна лишь благоприятная перестановка обстоятельств, счастливое сочетание политических сил. Вот одним-то из таких счастливых сочетаний сербы основательно могут считать (с точки зрения сербизма своего) военное бессилие и государственную неприготовленность соседней, столь родственной, столь удобной для поглощения и так великолепно у Босфора и при устьях Дуная стоящей болгарской нации.

Болгары это чувствуют и сербам не доверяют; точно так же, как мало доверяют их крайние и влиятельные деятели и нам, русским, несмотря на все доказанное делами бескорыстие нашей политики на Востоке.[23]

Таких противоположных интересов мы найдем много и у австрийских славян. 5) У православных сербов в Турции есть две национальные династии — черногорская и сербская. И хотя и у сербов, и у черногорцев неза-

метно той сознательной привычки к безусловной покорности родным династиям, какая видна у русских, у турок и была видна до последнего времени у пруссаков, но привязанность, уважение к этим династиям все-таки есть. Мы видим, что в настоящее время и черногорцы, и сербы свои династии чтут. По этому самому очень трудно решить, который из двух домов, Негошей ли дом или дом Обреновичей, решились бы принести в жертву православные и независимые сербы задунайские? Оказывается, что даже и монархические, лояльные чувства, объединяющие народ в других местах, у юго-славян способствуют некоторому сепаратизму.

Кажется, я перечел все те главные черты или исторические свойства, которые могут препятствовать объединению юго-западных единоплеменников наших. Мы видим, что все у них разное, иногда противоположное, даже враждебное, все может служить у них разъединению, все: религия, племенное честолюбие, предания древней славы, память вчерашнего рабства, интересы экономические, даже монархические чувства направле-

ны у одних на князей черногорских, у других на потомство Милоша, у третьих на мечты о короне Вячеслава и Юрия Подебрадского, у иных, наконец, это чувство состоит просто в привычной, хотя и много остывшей уже, преданности Габсбургскому дому, или оно направлено на временное охранение власти султана.

Что же есть у них у всех общего исторического, кроме племени и сходных языков? Общее им всем в наше время — это крайне демократическое устройство общества и очень значительная привычка к конституционной дипломатии, к искусственным агитациям, к заказным демонстрациям и ко всему тому, что происходит ныне из смеси старобританского, личного и корпоративного, свободолюбия с плоской равноправностью, которую выдумали в 89-м году французы, прежде всего на гибель самим себе.

Разделять югославян может многое, объединить же их и согласить без вмешательства России может только нечто общее им всем, нечто такое, что стояло бы на почве нейтральной, вне православия, вне византиз-

ма, вне сербизма, вне католичества, вне Юрия Подебрадского, вне Крума, Любуши и Марка Крале-вича, вне крайне болгарских надежд. Это, вне всего этого стоящее, может быть только нечто крайне демократическое, индифферентное, отрицательное, якобински, а не старобритански конституционное, быть может, даже федеративная республика. Заметим еще вдобавок, что если бы такая республика[24] создавалась по распадении Австрии и по удалении турок за Босфор, то она вышла бы не из тех побуждений, из коих вышли Соединенные Штаты Америки, а из других, в охранительном смысле гораздо худших начал. Люди, которые, ушедши из старой Англии, полагали основы Штатам Америки, были все люди крайне религиозные, которые уступать своей горячей личной веры не хотели и не подчинялись государственной англиканской епископской Церкви не из прогрессивного равнодушия, а из набожности.

Католики, пуритане, квакеры, все были согласны в одном — во взаимной терпимости, не по холодности, а по необходимости. И потому государство, созданное ими для прими-

рения всех этих горячих религиозных крайностей, нашло центр тяжести своей вне религии. Была вынужденная обстоятельствами терпимость, не было внутреннего индифферентизма.

Славяне, вступая в подобную федерацию, не внесли бы в нее тех высоких чувств, которые на просторе Нового Света одушевляли прежних европейских переселенцев Северной Америки. Они вступили бы в эту федерацию при иных условиях. Там, в Америке, чтобы жить согласно, нужно было помнить о недавних гонениях за личную веру Здесь, и в Австрии, и в Турции, никто уже не гонит серьезно ни католичества чехов и хорватов, ни православия сербов и болгар. Напротив того, в последнее время даже турецкие министры, например, так изучили наш церковный вопрос, что делают нередко болгарам очень основательные канонические возражения, когда те слишком спешат. Туркам иногда, для спокойствия империи, приходится защищать православие от увлечения славянских агитаторов. Итак, не религиозные же гонения, не общие страдания могут объединить в демо-

кратической федерации нынешних юго-славян, а только общеплеменное сознание, лишенное всякого положительного организующего содержания, лишенное всякой сложной системы особо славянских идей.

В наше время легче всего помириться на Бюхнере, Дарвине и Молешотте. Передовые люди, зная штуку, но держась черни, по незабвенному выражению Третьяковского, могут, для назидания тех соотчичей своих, которые к тому времени будут еще верить в ту или другую Церковь, всегда притвориться, сходять к обедне, причаститься, похвалить старину, даже изредка и с трудом великим неделю попоститься.

Так делают давно уже и теперь многие влиятельные люди на Востоке, и греки и славяне одинаково. Есть такие, которые на 1-й неделе Великого поста и на Страстной дома для детей и слуг едят и постное, а потихоньку потом заходят в гостиницу и подкрепляют мясом свои просвещенные и прогрессивные купеческие, учительские и лекарские желудки.

То же по-своему могут делать и католики,

пока народ прост, и то, если это занадобится для чего-нибудь.

Но, строго говоря, зачем и лицемерить долго? В наше время, «при быстроте сообщений, при благодетельной гласности, при обучении народа, при благородном, возвышенном стремлении к полной равноправности всех людей и народов». Увы! патриархальная и гомерическая поэзия православного Востока угасает быстро... Юнаки и паликары доживают свой век, разбойничая в горах без идей. Христианскими общинами самодержавно правит уже не бесстрашный гайдук Карагеоргай, не мудрый и стойкий свинопас Милош, не безграмотные герои Канарис и Боцарис, не митрополиты черногорские, которые умели сражаться и с турками, и с французами.

Нынешний христианский Восток вообще есть не что иное, как царство, не скажу даже скептических, а просто неверующих епископов, для которых религия их соотчичей низшего класса есть лишь удобное орудие агитации, орудие племенного политического фанатизма в ту или другую сторону. Это истина, и я не знаю, какое право имеем мы, русские, глав-



ные представители православия во вселенной, скрывать друг от друга эту истину или стараться искусственно забывать ее! Двадцать лет тому назад еще можно было надеяться, что эпические части народа у славян дадут свою окраску прогрессивным, но теперь нельзя обманывать себя более! Космополитические, разрушительные и отрицательные идеи, воплощенные в кое-как по-европейски обученной интеллигенции, ведут все эти близкие нам народы сначала к политической независимости, вероятно, а потом? Потом, когда все обособляющие от космополитизма признаки бледны? Что будет потом? Чисто же племенная идея, я уже прежде сказал, не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство (т. е. однообразие) областей, равенство всех народов. Расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное подкапывание всех авторитетов — религии, власти, сословий, препятствующих этому равенству, это все одна и та же идея, выражает-

ся ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести себе во что бы то ни стало равные со всеми другими нациями государственные права. Для нас знание подобных данных важно. Хотим ли и мы предаться течению, или желаем мы ревниво, жадно, фанатически сберечь все старое, для органического сопряжения с неизбежно новым, для исполнения призвания нашего в мире — призвания, еще не выясненного нам самим; во всяком случае, мы должны знать и понимать, что такое эти славяне, вне нас стоящие. Хотим ли мы, по идеалу наших нигилистов, найти наше призвание в передовой разрушительной роли, опередить всех и все на поприще животного космополитизма; или мы предпочитаем по-человечески служить идеям организующим, дисциплинирующим

— идеям, вне нашего субъективного удовольствия стоящим, объективным идеям государства, Церкви, живого добра и поэзии; предпочитаем ли мы, наконец, нашу собственную целостность и силу, чтобы обратить эту

силу, когда ударит понятный всем страшный и великий час, на службу лучшим и благороднейшим началам европейской жизни, на службу этой самой великой, старой Европе, которой мы столько обязаны и которой хорошо бы заплатить добром? И в том и в другом случае надо понять хорошо все окружающее нас.

Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой любезности; нет! надо изучить их и, если можно, если удастся, учить их даже, как людей отсталых по уму, несмотря на кажущуюся их прогрессивность и даже на ученость некоторых из них. Ученость сама по себе, одна, еще не есть спасение; иногда она залог отупения.

Прежде всего не надо обманывать свое русское общество; не надо оставлять его в приятном тумане из-за какой-то вовсе не обязательной в литературе льстивой политики!

## Глава VI

# Что такое процесс развития?

Теперь мне предстоит оставить на время и славян, и наше русское византийство и отвлечься от главного моего предмета очень далеко. Я постараюсь, однако, насколько есть у меня умения, быть кратким. Я спрошу себя прежде всего: что значит слово «развитие» вообще? Его недаром употребляют беспрестанно в наше время. Человеческий ум в этом отношении, вероятно, на хорошей дороге; он прилагает, может быть, очень верно идею, выработанную реальными, естественными науками к жизни психической, к исторической жизни отдельных людей и обществ. Говорят беспрестанно: «Развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшее развитие наших учреждений» и т. д.

Все это хорошо. Однако есть при этом и ошибки; именно при внимательном разборе видим, что слово развитие иногда Употребля-

ется для обозначения вовсе разнородных процессов или состояний. Так, например, развитый человек часто употребляется в смысле ученый, начитанный или образованный человек. Но это вовсе не одно и то же. Образованный, сформированный, выработанный разнообразно человек и человек ученый — понятия разные. Фауст — вот развитый человек, а Вагнер у Гете — ученый, но вовсе неразвитый.

Еще пример. Развитие грамотности в народе мне кажется вовсе не подходящее выражение.

Распространение, разлитие грамотности — дело другое. Распространение грамотности, распространение пьянства, распространение холеры, распространение благонравия, трезвости, бережливости, распространение железных путей и т. д. Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего, простого. Идея же развития собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному с про-

цессом распространения, разлития, процессу как бы враждебному этому последнему процессу. Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой

— от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством.

Самый рост травы, дерева, животного и т. д. есть уже осложнение; только говоря

«рост», мы имеем в виду преимущественно количественную сторону, а не качественную, не столько изменение формы, сколько изменение размеров. Содержание при росте количественно осложняется. Трава, положим, еще не дала ни цветов, ни плода, но она поднялась, выросла, значит, если нам незаметно было никакого в ней ни внутреннего (микроскопического), ни внешнего, видимого глазу, морфологического изменения, обогащения; но мы имеем все-таки право сказать, что трава стала сложнее, ибо количество ячеек и волокон у нее умножилось. К тому же ближайшее наблюдение показывает, что всегда при процессе развития есть непрестанное, хоть какое-нибудь изменение и формы, как в частности (например, в величине, в виде самих ячеек и волокон), так и в общем (т. е. что появляются новые вовсе черты, дотоле небывавшие в картине всецелого организма). То же и в развитии животного тела, и в развитии человеческого организма, и даже в развитии духа человеческого, характера.

Я сказал: не только целые организмы, но и все органические процессы, и все части орга-

низмов, одним словом, все органические явления подчинены тому же закону. Возьмем, например, картину какой-нибудь болезни. [25] Положим, — воспаление легких (pneumonia). Начинается оно большею частью просто, так просто, что его нельзя строго отличить в начале от простой простуды, от bronchitis, от pleuritis и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, жар, боль в груди или в боку, кашель. Если бы в эту минуту человек умер от чего-нибудь другого (например, если бы его застрелили), то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, очень мало отличий от других легких. Болезнь не развита, не сложна еще и потому и не индивидуализирована и не сильна (еще не опасна, не смертоносна, еще мало влиятельна). Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются: жар, боль, горячка, слабость, кашель, удушье и т. д., но есть еще новые: мокрота, окра-



шенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический *ronchus crepitans*. Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна: в одной части легких простой *ronchus subcrepitans*, свойственный и другим процессам, в другой *ronchus crepitans* (подобный нежному треску волос, которые мы будем растирать медленно около уха), в третьем месте выслушивание груди дает бронхиальное дыхание *souffle tubaire*, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это опеченение легких, воздух не проходит вовсе. Наконец может случиться, что рядом с этим будет и нарыв, пещера, и тогда мы услышим и увидим еще новые явления, встретим еще более сложную картину. То же самое нам дадут и вскрытия: 1) силу, 2) сложность, 3) индивидуализацию.

Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни упрощается. Если же дело к победе болезни, то, напротив, упрощается, или вдруг, или постепенно, картина самого организма.

Если дело идет к выздоровлению, то слож-

ность и разнообразие признаков, составляющих картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опеченение разрешается, т. е, легкие становятся опять однороднее, однообразнее. Если дело идет к смерти, начинается упрощение организма. Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходят все более и более в процессе разложения, распада, растворения, разлития в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической просто-

ты углерода, водорода и кислорода, разливаются в окружающем мире, распространяются. Кости, благодаря большей силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и они, при благоприятных условиях, скоро распадаются, сперва на части, а потом и на вовсе неорганический и безличный прах. Итак, что бы развитое мы ни взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс), или живое, цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и смерти второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее.

Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого, слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренне, и ближе к окружающему миру, и сход-

нее с родственными, близкими ему явлениями (т. е. свободнее). Так, яички всех самок и внутренне малосложны, и ближе к организму матери, чем будут близки зародыши, и сходнее со всякими другими животными и растительными первоначальными ячейками.

Разные животные зародыши отдельнее яичек имеют уже больше их микроскопических отличий друг от друга, они уже менее сходны. Утробные зрелые плоды еще разнороднее и еще более отделены. Это оттого, что они и сложнее, и единее, т. е. развитее.

Младенцы, дети еще сложнее и разнороднее; юноши, взрослые люди, до впадения в дряхлость, еще и еще развитее. В них все больше и больше (по мере и степени развития) сложности и внутреннего единства, и потому больше отличительных признаков, больше отдельности, независимости от окружающего, больше своеобразия, самобытности.

И это, повторяем, относится не только к организмам, но и к частям их, к системам (нервной, кровеносной и т. д.), к аппаратам (пищеварительному, дыхательному и т. д.); отно-

сится и к процессам нормальным и патологическим; даже и к тем идеальным, научным, собирательным единицам, которые зовутся вид, род, класс и т. д. Чем выше, чем развитее вид, род, класс, тем разнообразнее отделы (части, их составляющие), а собирательное, целое все-таки весьма едино и естественно. Так, собака домашняя — животное, весьма развитое; поэтому-то отделение млекопитающих, которое известно под названием домашняя собака, — отделение весьма полное, имеющее чрезвычайно много разнообразных представителей. Род кошек (в широком смысле), четверорукие (обезьяны), позвоночные вообще — представляют, при всем своем необычайном разнообразии, чрезвычайное единство общего плана. Это все отделения весьма развитых животных, весьма богатых зоологическим содержанием, индивидуализированных, богатых признаками.

То же самое мы можем наблюдать и в растительных организмах, процессах, органах и в растительной классификации по отделам, по собирательным единицам. Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упро-

цается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую «Нирвану». При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров. Я не могу распространяться здесь долго и развивать подробно мою мысль. Я ограничусь только несколькими краткими примерами и объяснениями. Например, для небесного тела:

а) период первоначальной простоты: расплавленное небесное тело, однообразное, жидкое; б) период срединный, то состояние, которое можно назвать вообще цветущей

сложностью: планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, обитаемая, пестрая; в) период вторичной простоты, остывшее или вновь, вследствие катастрофы, расплавленное тело и т. д.

Мы заметим то же и в истории искусств: а) период первоначальной простоты: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков (послужившие, вероятно, исходным образцом для куполов и вообще для круглых линий развитой римской архитектуры), избы русских крестьян, дорический орден и т. д., эпические песни первобытных племен; музыка диких, первоначальная иконопись, лубочные картины и т. д.; б) период цветущей сложности: Парфенон, храм Эфесской Дианы (в котором даже на колоннах были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, св. Петра, св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Данте, Байрон, Рафаэль, Микеланджело и т. д.; в) период смешения, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль (до начала готического и от падения римского), все нынешние ути-

литературные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т. д. В архитектуре единство есть то, что зовут стилем. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет ни эклектичского смешения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии то же: Софокл, Эсхил и Еврипид — все одного стиля; впоследствии все, с одной стороны, смешивается эклектичски и холодно, понижается и падает.

Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектичское (т. е. смешанное), и приниженное, количественно павшее, плоское. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно не сходны между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Данте, Шекспир, Кор-



нель, Расин, Байрон, Вальтер Скотт, Гете, Шиллер.

В настоящее время, особенно после 48-го года, все смешанное и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж Занд во Франции (я говорю про старые ее вещи), как они ни различны друг от друга, но были оба последними представителями сложного единства, силы, богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку и пишущему, и читающему.

Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное смесительное упрощение, следовавшее за теплой объективностью Гете, Вальтера Скотта, Диккенса и прежнего Жорж Санда, больше ничего. Пошлые общедоступные оды, мадригалы и эпопеи прошлого века были подобным же упрощением, понижением предыдущего французского классицизма, высокого классицизма Корне-

лей, Расинов и Мольеров.

В истории философии то же: а) первобытная простота: простые изречения народной мудрости, простые начальные системы (Фалес и т. п.); б) цветущая сложность: Сократ, Платон, стоики, эпикурейцы, Пифагор, Спиноза, Лейбниц, Декарт, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель; в) вторичное упрощение, смешение и исчезновение, переход в совершенно иное: эклектики, безличные смесители всех времен (Кузен); потом реализм феноменальный, отвергающий отвлеченную философию, метафизику: материалисты, деисты, атеисты. Реализм очень прост, ибо он даже и не система, а только метод, способ: он есть смерть предыдущих систем. Материализм же есть бесспорно система, но, конечно, самая простая, ибо ничего не может быть проще и грубее, менее сложное, как сказать, что все вещество и что нет ни Бога, ни духа, ни бессмертия души, ибо мы этого не видим и не трогаем руками. В наше время это вторичное упрощение философии доступно не только образованным юношам, стоящим еще, по летам своим, на степени первобытной простоты, на степени незре-

лых яблок, или семинаристам циклопической постройки, но даже парижским работникам, трактирным лакеям и т. п. Материализм всегда почти сопровождает реализм; хотя реализм сам по себе еще и не дает права ни на атеизм, ни на материализм. Реализм отвергает всякую систему, всякую метафизику; реализм есть отчаяние, самооскопление, вот почему он упрощение! На материалистические же выводы он прав все-таки не дает.

Материализм, со своей стороны, есть последняя из систем последней эпохи: он царствует до тех пор, пока тот же реализм не сумеет и ему твердо сказать свое скептическое слово. За скептицизмом и реализмом обыкновенно следует возрождение: одни люди переходят к новым идеальным системам, у других является пламенный поворот к религии. Так было в древности; так было в начале нашего века после реализма и материализма XVIII столетия.

И метафизика, и религия остаются реальными силами, действительными, несокрушимыми потребностями человечества.

Тому же закону подчинены и государ-

ственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) гнетущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения. О них я повторю особо, дальше.

# Глава VII

## О государственной форме

**Я** кончил предыдущую главу следующей мыслью: «Триединый процесс: 1) первоначальной простоты, 2) цветущего объединения и сложности и 3) вторичного смесительного упрощения, свойствен точно так же, как и всему существующему, и жизни человеческих обществ, государствам и целым культурным мирам». Развитие государства сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим.

Прежде всего спрошу себя: «Что такое форма?» Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смысле? Материя, например, данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где кончается стекло, там, где его уже нет, начинается воздух вокруг или

жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своего полого цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом.

Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет. Шарообразная или эллиптическая форма, которую принимает жидкость при некоторых условиях, есть форма, есть деспотизм внутренней идеи. Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно вещество должно, при известных условиях, оставаясь само собою, кристаллизоваться призмами, другое октаэдрами и т. п.

Иначе они не смеют, иначе они гибнут, разлагаются. Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна предоставлено иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. Человек, высекая из камня или выливая из бронзы (из материи) статую человека, вытачивая

из слоновой кости шар, склеивая и сшивая из лоскутков искусственный цветок, влагает извне в материю свою идею, подкарауленную им у природы. Устраивая машину, он делает то же. Машина рабски повинуется, отчасти идее, вложенной в нее извне человеческой мыслью, отчасти своему внутреннему закону, своему физико-химическому строю, своей физико-химической основной идее. Нельзя, например, из льда сделать такую прочную машину, как из меди и железа. С другой стороны, из камня нельзя сделать такой естественный цветок, как из бархата или кисеи.

Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот должен бы рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры и уверяют, что это очень рационально и научно!

Да кто же сказал, что это правда? Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть,

что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически Родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс есть анти-теза процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смешения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически (т. е. деспотически) свойственны общественному телу. Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообраз-



ные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д. («On est deborde», [26] говорят многие, это дело другое. «On est deborde» и холерой. Но почему же холеру не назвать по имени? Зачем ее звать молодостью, возрождением, развитием, организацией!)

При всех этих процессах гниения, горения, таяния, холерного поступательного движения заметны одни и те же общие явления. А) Утрата особенностей, отличавших дотоле деспотически сформированное целое дерево, животное, целую ткань, целый кристалл и т. д. от всего подобного и соседнего.

Б) Больше против прежнего сходство составных частей, большее внутреннее равенство, большее однообразие состава и т. п. В) Утрата прежних строгих морфологических очертаний: все сливается, все свободнее и ровнее.

Итак, какое дело частной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?

К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества?

Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования? Где эти не догматические, бесстрастные, скажу даже, в прогрессивном отношении, пожалуй, безнравственные, но научно-честные исследования? Где они? Они существуют, положим, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократов, не для прогрессистов.

Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий! Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинаясь некоему таинственному, не зависящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделан-

ная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма. На которое бы из государств древних и новых мы ни взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие в начале, больше равенства и больше свободы (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), чем будет после. Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все начала довольно схожи, хоть и не совсем. Взгляду на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, то из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим дальнейшее или меньшее укрепление власти, более глубокое или резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение сословий, большее разнообразие быта и разнообразность областей.

Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразят-

ся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссеев и Ахиллов. Являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелей и смех Мольеров. У иных Софокл и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гете. Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще стоящая на грани политической и бытовой. Эвпатриды Афин, феодальные сатрапы Персии, оптиматы Рима, маркизы Франции, лорды Англии, воины Египта, спартиаты Лаконии, знатные дворяне России, паны Польши, беи Турции.

В то же время, по внутренней потребности единства, есть склонность и к единоличной власти, которая по праву или только по фак-

ту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны (в древнеэллинском смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п.

Между Периклом, диктатором фактическим, и между законным самодержцем по наследству и религии — помещается целая лестница разнообразных единоличных властительств, в которых ощущается потребность везде в сложные и цветущие эпохи для объединения всех составных частей, всех общественно-реальных сил, полных жизни и брожения.

Провинции в это время так же всегда разнообразны по быту, правам и законам. Дерево выразило вполне свою внутреннюю морфологическую идею... А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения.

Все болит у дерева жизни людской... Болит начальное прозябание зерна. Болят первые всходы, болит рост стебля и ствола; развитие листьев и распускание пышных цветов (ари-

стократии и искусства) сопровождаются сто-нами и слезами. Болят одинаково эгалитар-ный быстрый процесс гниения и процесс мед-ленного высыхания, застоя, нередко предше-ствующий эгалитарному процессу. (Напри-мер, в Испании, Венецианской республике — во всей Италии высыхание XVII и XVIII веков предшествовало гниению XIX.) Боль для соци-альной науки — это самый последний из при-знаков, самый неуловимый; ибо он субъекти-вен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное ме-рило, подобно тому, как вовсе неожиданно открыли, что спектральный анализ может об-наружить химический состав небесных тел, отдаленных на бесконечные от меня про-странства! Раскройте медицинские книги, о, друзья реалисты! и вы в них найдете, до чего музыкальное, субъективное мерил боли счита-ется маловажнее суммы всех других пла-стических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед очами вра-

ча-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безболезненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней.

Вместо того чтобы или наивно, или нечестно становиться, ввиду какого-то конечного блага, на разные предвзятые точки зрения: коммунистическую, демократическую, либеральную и т. д., научнее было бы подвергать все одинаковой, бесстрастной, безжалостной оценке, и если бы итог вышел либо либеральный, либо охранительный, либо сословный, либо бессловный, то не мы, так сказать, были бы виноваты, а сама наука.

Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом. Современные нам критяне, например, жили положительно лучше хоть бы фракийских болгар и греков и несравненно веселее и приятнее небогатых жителей каких бы то ни было

больших городов. Человек добросовестный, живой, неподкупленный политикой, не слепой, наконец, был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотой их жилищ, их прелестной, честной, семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов... И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже и терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины, те даже подавали султану адреса и предлагали оружием поддерживать его против критян. Никакой нет статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии; в ограниченной монархии лучше, чем в неограниченной; в эгалитарном государстве лучше, чем в сословном; в богатом лучше, чем в бедном. Поэтому, отстраняя мерило благоденствия, как недоступное еще современной социальной науке (быть может, и



навсегда, неверное и малопригодное), гораздо безошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ?

И если мы не знаем, возможно ли всеобщее царство блага, то, по крайней мере, постараемся дружными усилиями постичь, по мере наших средств, что пригодно для блага того или другого частного государства. Чтобы узнать, что организму пригодно, надо прежде всего ясно понять самый организм. Для гигиены и лечения нужна прежде всего физиология.

Форма (сказал я выше) есть выражение внутренней идеи на поверхности содержания. Идея шара, например, есть равное расстояние всех точек поверхности от центра. Разве не выражается эта идея на поверхности шара, разве не она придает кости, дереву, капле, расплавленному небесному телу и т. д., вообще содержанию, материи эту форму?

Разумеется, в таком простом явлении, как шар, это ясно; а в таком сложном явлении,

как человеческое общество, оно не так ясно. Но тем не менее основа метафизическая одна и та же и для маленького шара, и для великого государства.

Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частности, от начала до конца.

Вырабатывается она не вдруг и не сознательно сначала; не вдруг понятна; она выясняется лишь хорошо в ту среднюю эпоху наибольшей сложности и высшего единства, за которой постоянно следует, рано или поздно, частная порча этой формы и затем разложение и смерть.

Так, государственная форма древнего Египта была резко сословная монархия, вероятно, глубоко ограниченная жреческой аристократией и вообще религиозными законами.

Персия была, по-видимому, более феодального, рыцарского происхождения; но феодальность ее сдерживалась безграничным в принципе царизмом, земным выражением добра, Ормузда.

История Греции и Рима больше обработана, и потому на них все это еще яснее. Афины именно в цветущий период выработали свойственную им государственную форму. Это — демократическая республика, однако с привилегиями, с эвпатридами, с денежным цензом, с рабами и, наконец, с склонностью к фактической, незаконной, непрочной диктате Периклов, Фемистоклов и т. д. Форма эта, которой естественные залогов хранились, конечно в самих нравах и обстоятельствах, выработалась именно в цветущий сложный период, от Солона до Пелопоннесской войны. Во время этой войны началась порча, начался эгалитарный прогресс.

Свободы было и без того много: захотелось больше равенства. Спарта, от эпохи Ликурга до унижения ее фиванцами, выработала также свою, чрезвычайно оригинальную, стеснительную и деспотическую форму аристократического республиканского коммунизма с чем-то вроде двух наследственных президентов. Форма эта была несравненно стеснительнее, деспотичнее афинской, и поэтому жизни и творчества в Афинах было

больше, а в Спарте меньше, но зато Спарта была сильнее и долговечнее.

Все остальные государства греческого мира колебались, вероятно, между дорической формой Спарты, и ионийской формой Афин. Потребность формы, стеснения, деспотизма, дисциплины, исходящей из нужд самосохранения, была и в этом распущенном и раздробленном эллинском мире так велика, что во многих государствах демократического характера (т. е., вероятно, там, где выразился слабее деспотизм сословный) вырабатывалась тирания, т. е. дисциплина единоличной власти (Поликрат, Периандр, Дионисий Сиракузский и др.). Феодализм сельский, помещичий или рыцарский был, по-видимому, всегда ничтожен в Элладе почти так же, как и в Риме; все аристократии Эллады и Рима имели городской характер; все они были, так сказать, муниципального происхождения. История Македонии очень бедна, и сведений о первоначальной организации македонского царства у нас мало. Но некоторые историки полагают, что у македонян был феодализм выражен сильнее муниципальности (и дей-

ствительно, о городах македонских почти нет и речи, а все слышно лишь о царях и их дружине, о «генералах» Александра).

Ослабевший эллинский муниципальный мир, соединившись потом с грубой, неясной (неразвитой, вероятно) феодальностью македонян, дошел до мгновенного государственного единства при Филиппе и Александре и только тогда стая в силах распространять свою цивилизацию до самой Индии и внутренней Африки. Опять-таки, значит, для наибольшего величия и силы оказалась нужной большая сложность формы

— сопряжение аристократии с монархией. Цветущий период Рима надо считать, я полагаю, со времен Пунических войн до Антонинов приблизительно.

Именно в это время выработалась та муниципальная, избирательная диктатура, императорство, которое так долго дисциплинировало Рим и послужило еще потом и Византии.

То же самое мы видим и в европейских государствах. Италия, возросшая на развалинах Рима, раньше всех других европейских госу-

дарств выработала свою государственную форму в виде двух самых крайних антитез — с одной стороны, высшую централизацию в виде государственного папства, объединявшего весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же — для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых государств, которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.). Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями, нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета.

Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта форма выяснялась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV; исказилась она в 89-м го-

ду.

Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия, или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом, а форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елизавете и Вильгельме Оранском.

Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов 48 и 71) следующая: союз государств небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избранным императором-сюзереном (не муниципального, а феодального происхождения).

Все эти уже выработанные ясно формы начали постепенно меняться у одних с XVIII столетия, у других в XIX веке. Во всех открылся эгалитарный и либеральный процесс.

Можно верить, что польза есть от этого какая-нибудь, общая для вселенной, но уже никак не для долгого сохранения самих этих отдельных государственных миров. Реакция не потому не права, что она не видит истины, нет! Реакция везде чует эмпирически истину;

но отдельные ячейки, волокна, ткани и члены организма стали сильнее в своих эгалитарных порывах, чем власть внутренней организующей деспотической идеи!

Атомы шара не хотят более составлять шар! Ячейки и волокна надрубленного и высыхающего дерева — здесь горят, там сохнут, там гниют, везде смешиваются, восхваляя простоту грядущей, новой организации и не замечая, что это смешение есть ужасный момент перехода к неорганической простоте свободной воды, безжизненного праха, не кристаллизованной, растаявшей или растолченной соли! До времен Цезаря, Августа, св. Константина, Франциска I, Людовика XIV, Вильгельма Оранского, Питта, Фридриха II, Перикла, до Кира или Дария Гистаспа и т. п. все прогрессисты правы, все охранители не правы. Прогрессисты тогда ведут нацию и государство к цветению и росту. Охранители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение или не любят этого цветения и роста, не понимают их. После цветущей и сложной эпохи, как только начинается процесс вторичного упрощения и смешения контуров,



т. е. большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и т. п., как только деспотизм формологического процесса слабеет, так, в смысле государственного блага, все прогрессисты становятся не правы в теории, хотя и торжествуют на практике. Они не правы в теории; ибо, думая исправлять, они разрушают; они торжествуют на практике, ибо идут легко по течению, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествуют, они имеют громкий успех. Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории, когда начнется процесс вторичного упрощительного смещения; ибо они хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что они не надолго торжествуют; не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее.

Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно, к культуре создавшей ее государственности. До дня цветения лучше быть парусом или паровым кот-

лом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд, до тех пор, пока какой-нибудь Седан, Херонея, Арбеллы, какой-нибудь Аларих, Магомет II или зажженный петролеем и взорванный динамитом Париж не откроют им глаза на настоящее положение дел. Я предвижу еще одно возражение: я знаю, мне могут сказать, что пред концом культурной жизни и пред политическим падением государств заметнее смешение, чем упрощение. И в Древности, и теперь. Но, во-первых, самое смешение есть уже своего рода упрощение картины, упрощение юридической ткани и бытовой узорности. Смешение всех цветов ведет к серому или белому. А главное основание вот где. Я спрашиваю: просты ли нынешние копты, потомки египтян или арабы Сирии? Просты ли были рагани, сельские идолопоклонники, которые держались еще после падения и исчезновения эллино-римской религиозности и культуры в высших слоях обще-

ства? Просты ли были христиане-греки под турецким игом до восстания 20-х годов? Просты ли гербы, остатки огнепоклонников культурного персо-мидийского мира? Конечно, все перечисленные люди, общины и народные остатки несравненно проще, чем были люди, общины, нации в эпоху цвета Египта, калифата, греко-римской цивилизации, чем персы во времена Дария Гистаспа или византийцы во времена Иоанна Златоуста. Люди проще лично, по мыслям, вкусам, по несложности сознания и потребностей; общины и целые национальные или религиозные остатки проще потому, что люди в их среде все очень сходны и равны между собою. Итак, прежде смешение и некоторая степень вторичного принижения (то есть количественное упрощение), потом смерть своеобразной культуры в высших слоях или гибель государства и, наконец, переживающая свою государственность вторичная простота национальных и религиозных остатков. Теперь (в XIX веке) эту болезнь предсмертную хотят считать идеалом гигиены будущего! Идеал Прудонов и Кабе — полнейшее однообразие лю-

дей по положению, по воспитанию и т. д. —  
чего же проще по идеалу?

# Глава VIII

## О долговечности государств

Возвращусь теперь к тому, о чем я говорил мимоходом в 1 — и главе: о долговечности государств и культур.

Я сказал тогда, что наибольшая долговечность государственных организмов, это 1000 или много 1200 с небольшим лет.

Культуры же, соединенные с государствами, большей частью переживают их. Так, например, элинская образованность и элинская религия боролись с христианством еще долго при византийских императорах, тогда как последние черты элинской государственности стерлись еще до Р. Х., отчасти во времена римского триумvirата, отчасти еще прежде.

Религия индусов и связанный с ней быт живут давно без государства и в наше время, не поддаваясь англичанам.

Византии как государства нет давно, а некоторые Византийские уставы, понятия, вкусы и обычаи даже под турецким владыче-

ством отстаивают себя до сих пор от натиска космополитического европеизма. В семейной жизни, в разговорах, в литературе, в постройках, в одеждах, во взглядах на приличия на Востоке еще много византийского. Уважение к званию, к должности, к положению здесь гораздо заметнее, чем уважение к роду, и у турок, и у греков, и у славян, и у армян, почти одинаково. Только у одних албанцев феодальное чувство личности и рода чуть-чуть заметнее, чем у других.

В самом церковном вопросе, если забыть об интересах и увлечениях, а смотреть для ясности на людей и нации как на орудия идей и начал, увидим, что греки олицетворяют между собой в этой борьбе византийское начало, византийские идеи — подчинения народа в церковных делах духовенству, а болгары — новоевропейское демократическое начало личных и собирательных прав. Греки олицетворяют в этой борьбе авторитет организованной, а не личной и своевольной религии, а болгары — суверенитет самоопределяющегося народа. (Я думаю, что ни друг, ни враг болгар не может оспаривать этого объясне-

ния.)

Итак, дело теперь не о культурах вообще, а лишь о государствах, о долговечности юридических организмов, производящих, определяющих эти культуры или отчасти производимых ими.

Начнем с древнего юго-востока и мы найдем то, что нам нужно, даже во всяком учебнике:

I. Египет. Древний Египет и Китай могут, по-видимому, своим примером опровергать ту мысль, что государство живет вообще не более 12 веков. Египту иные писатели приписывают огромную долговечность, около 40 веков, например. У меня теперь под рукой статья Бюрнуфа («La science des religions»[27]) и еще книга Бюхнера: «L'homme selon la science»,[28] в которой тоже говорится о древности Египта и приводятся ссылки на многих ученых. Бюрнуф говорит о Египте вот что: «D'apres des documents hieroglyphiques, les croyances de l'Egypte ne semblent pas avoir etc fixees et systematisees avant la fin de la IV-e dynastie; elles durerent jusqu'a la conquete de ce pays par Cambyse et a partir de ce temps elles

tomberent dans une decadence rapide».[29] О 40 веках вероятных он говорил дальше. Но, во-первых, эта продолжительность принята далеко не всеми учеными; во-вторых, эти 4000 лет относятся к целой религиозной культуре, а не к таким отдельным государственным организмам, как Мемфис, царство гиксов, Фивы, Саис; в-третьих, например египетской государственности (принимая даже, что все отдельные, сменявшие друг друга в этой стране государства были очень сходны по строю, по форме) не может служить один опровержением тому, что вообще государства живут не более 12 веков Мы увидим ниже, что это так на Риме, Греции, Персии и т. д. Египет древний долго был одинок, в стороне, он долго не имел соперников его поэтому трудно приравнять по долговечности к истории тех государств, которые созидались позднее друг за другом и все на тех же почти местах, не на девственной почве, а на развалинах предыдущей государственности. Если бы наука доказала, что при вовсе других условиях динозавры, птеродактили, мегалосауры жили очень долго, то из этого не следует еще, что



нынешний слон, нынешний лев или бык могут столько же прожить. О Китае я скажу дальше. Он тоже ничего не опровергает своим примером.

II. Халдейские и вообще семитические государства: а) Древний Вавилон вместе с Ассирией (ибо история обыкновенно принимает, что если полумифический Немврод и существовал около 2100 до Р. Х., то все-таки через 100 лет после него Нин (около 2000 лет до Р. Х.) соединил Ассирию и Вавилон в одно государство, которое существовало до смерти Сарданапала (т. е. до 606) 1394 года. Разумеется, не следует забывать, что летосчисление это может быть, по сравнительной бедности источников, и неточно. Что значит, например, Нин около 2000 лет? Отнимите 190 лет, например, или 200, останется 1800 до Р. Х.. вычтите 606, т. е. год падения — и на долю этой первой ассиро-вавилонской государственности выпадет как раз 12 веков, те 12 веков, которые прожил классический Рим — вечный образец государственности. б) Новейший Вавилон всего 68 лет (от распада Ниневийского царства в 606 году до взятия Вавилона Киrom в 538 г.

До Р.Х.).

в) Карфаген, 668 года (От Дидоны (814) до разрушения города римлянами, т. е. до 146 г. до Р. Х.) г) Еврейское государство.

(Исход из Египта около 1500 лет до Р. Х.) Но я полагаю, что государственную жизнь евреев надо считать не с номадной жизни времен Авраама и даже не со дня пришествия евреев в Палестину, ибо это состояние их соответствует, мне кажется, состоянию германских народов во время так называемого переселения, состоянию эллинов в эпоху Троянской войны, вторжения Гераклидов, римской истории в эпоху догосударственную. Разница в том, что об евреях, например, и германцах у нас есть источники более достоверные, а об эллинских, и еще более о римских первоначальных движениях нет таких достоверных источников.

Итак, если считать начало еврейской государственности со времен Судей, то это приходится за 1300 лет до Р. Х.

Распадение царства на Израильское и Иудейское произошло за 980 лет до Р. Х. Стало быть, от основания до распада всего толь-

ко 310 лет. От распадаения до первого ассирийского пленения (т. е. до падения Израильского царства) 260 лет.

От распадаения до второго или вавилонского пленения (от 0 До 600 годов, после битвы Навуходоносора с Нехао, в 404 году) иудеи прожили еще 376 лет. С этого времени Еврейское государство утратило самостоятельность навсегда и Палестина стала областью сперва Вавилона, потом Персии, потом греко-македонских царств и, наконец, римского государства.

Поэтому, считая от Судей даже до конца более долговечной Иудеи, мы получим от 1300 до 600 всего только 700 лет.

Ибо называть жизнь евреев после пленения жизнью государственной, это то же если бы мы жизнь нынешней Грузии, Польши, Чехии или Финляндии назвали так оттого, что они еще имеют свою физиономию, местные, юридические и бытовые оттенки. Что касается до волнений времени Маккавеев или до последней борьбы евреев против римлян при Тите, то это были лишь восстания подчиненных, бунты, но государственности уже не бы-

ло давно.

III. Персо-мидяне. От Деиока, освободившего индийское племя от владычества ассиро-вавилонского, т. е. от 707 до Александра Македонского или до сражения при Арбеллах (в 331 г. до Р. Х.). Итого только 376 лет первой персо-мидийской государственности. По-видимому, однако, македонское завоевание было не очень глубоко, а религия Зороастра (маздеизм) была еще достаточно крепка; ибо Персидское государство возродилось впоследствии с той же религией, при влиянии свежего и, вероятно, родственного племени парфов, под династиями Арзасидов (от 250 до Р. Х. - 226 по Р. Х.) и Сассанидов, от 226-636 по Р. Х., т. е. всего 886 лет. Итак, если мы даже соединим всю мидо-персидскую и парфянскую государственность в одно целое, несмотря на перерыв, то выйдет от Деиока (от 707 до Р. Х.) до царя Иездегерда, при котором царство Сассанидов было разрушено мусульманами (в 636 году по Р. Х.), 1262 года.

IV. Греческие республики, греко-македонские царства, греко-скифские, греко-сирийские, греко-египетские и т. д.

а) Афины от Кодра до Филиппа Македонского (1068 Д° 338), 730 лет. б) Спарта от того же времени (ибо Кодр был убит во время Дорического вторжения в Аттику и Пелопоннес) до сражения при Мантинее (206), где Филопем, предводитель Ахейского союза, победил окончательно спартанцев, или до (188 г.) уничтожения узаконений Ликурга, всего 880 или 860 лет.

в) Фивы. Основание Фиванского государства вероятно около того же времени дорийских переселений.

Падение ее, т. е. разрушение Фив Александром Македонским в 335 году по Р. Х. Всего 733 года.

г) Сиракузы основаны в 735 году; постепенное падение в борьбе с Карфагеном века за 3 до Р. Х. Присоединение Сицилии к Риму в 212 году после очищения Сицилии от карфагенян. Всего 523 года.

Если же взять историю всех греческих республик от времен баснословных до Александра Македонского, то есть от 1000 или от 1200 лет до Р. Х. (что будет очень много) до 320 годов, то выйдет и на всю таким образом при-

нятую их государственную жизнь 870 лет (пусть будет 900 даже). д) Царство сирийских Селевкидов.

От 323 года, т. е. от распада кратковременной монархии Александра до 64 года. (Уничтожение царства Помпеем). 259 лет.

е) Пергамское царство от 282 до 133 года, т. е. до присоединения его к Риму, под именем Азии. 149 лет.

ж) Египетское царство Птолемеев от того же времени (323) до присоединения к Риму в 30 году. Итак, менее 300 лет (293).

з) Македонское царство от самого начала до распада великой Александровой монархии, т. е. от Пердикки I (ок. 700 г.) До смерти Александра Великого (до 323 года). 377 лет.

Отдельное же Македонское царство от распада до обращения Метеллом Македонии в римскую провинцию, т. е. 148 года, только 175. Итого 552 года. Теперь, если возьмем всю государственную жизнь эллинскую и македонскую вместе и будем считать ее долготу весьма произвольно, снисходительно, с самых баснословных и даже почти вовсе неизвестных времен, т. е. за 1100–1200 лет до Р. Х.

и до присоединения к Риму Египта, самого последнего и счастливого в этом отношении из всех тех государств, где царила эллино-македонская образованность, то есть до 30 г. перед Р. Х., то у нас получится опять классическая цифра около 1200 лет, около 12 веков.

V. Рим. В этом государстве расчет легче. Оно было непрерывно одно, от начала до конца. Здесь не было ни раздробления и разновременности, как у греко-македонян, ни перерывов, как у персидян.

Считая от полумифических времен Ромула до Ромула Августа и Одоакра, получаем: от 753 г. до Р. Х. до 476 г. по Р. Х. - 1229 лет. Если же считать от времен более известных, то около 1000, не более. VI. Византия от перенесения столицы и торжества Христианства до взятия Византии турками (от 325 по Р. Х. до 1453) 1128 лет.

Прежде чем обратиться к вопросу о возрасте современных европейских государств, я нахожу необходимым сказать здесь несколько слов о Китае. Не знаю, имеем ли мы право рассматривать историю Китая, вдобавок столь еще темную, как историю одного госу-

дарства, непрерывно прожившего несколько тысяч лет?

Китай справедливее, мне кажется, рассматривать как отдельный культурный мир, вместе с Японией и другими соседними краями, как особый исторический мир, стоявший не на большой дороге народов, подобно государствам нашего Средиземного бассейна, и потому долее сохранившийся в своей отдельности и чистоте. К тому же надо прибавить, что и в нем, по-видимому, были смены государственных, но эти смены или еще мало известны и мало понятны нам, или они и в самом деле не представляют таких антитез и такого разнообразия, какие представляет преемственная картина государств и цивилизаций вокруг нашего Средиземного моря. Там, в глубине Восточной Азии, жило и волновалось почти одно и то же племя долгие века; здесь, около нас, сталкивалось множество народов, принадлежавших к нескольким породам (расам) и племенам: арийскому, семитическому, эфиопскому, чудо-тюркскому, монгольскому и т. д.

Очень может быть, повторяю, что и дол-



голетнюю историю китайской гражданственности можно было бы при более точном исследовании разложить на несколько отдельных государственных периодов по 1000 или 1200 лет. Шесть тысяч лет могут относиться к общим племенным воспоминаниям, а не к той сформированной гражданственности, о которой здесь идет речь. Если же на такую сформированную гражданственность положить даже целых четыре тысячелетия, то эта цифра легко разложится на несколько нормальных государственных периодов, по 1000 лет приблизительно каждый. О Египте я говорил уже прежде почти то же самое. Я полагаю поэтому, что ни Египет древний, ни современный Китай, вследствие своей обособленности, не могут служить опровержением того, что в наших краях, по крайней мере, и с тех пор как у древнего Египта явились образованные соперники в лице халдеев и персомидян, — ни одно государство больше 12 веков жить не может. Значительное же большинство государств проживало гораздо меньше этого. Демократические республики жили меньше аристократических, Фивы меньше

Спарты. Более сословные монархии держались крепче менее сословных и восстанавливались легко после всякого разгрома.

Такова была, по-видимому, Персия Ахеменидов, возродившаяся после погрома македонского и пережившая своих минутных победителей на долгие века.

# Глава IX

## О возрасте европейских государств

С какого века мы будем считать образование европейских государств? Неужели считать историю Франции с Хлодвига, т. е. с V века? Тогда Франция будет только одно из всех европейских государств, непрерывно существующих доныне с того времени. Германия тогда была в хаотическом состоянии, и кое-как сколоченное арианское царство готов, разрушенное Хлодвигом, занимало значительную ее часть. В Англии только в IX веке Эгберт принял название короля Англии. В Испании сначала долго господствовали аравитяне, и будущие испанцы-христиане не знали еще почти ничего.

Италия была в совершенном разгроме. В ней готов сменяли вандалы. Воцарялся Одоакр; Одоакра убивал гот Теодорих и т. д.

Следы Атиллы были везде еще свежи. Рим Западный пал всего за несколько лет до крещения Хлодвига.

Хлодвиг к тому же был еще чистый германец, чистый франк; с галло-римскими элементами не произошло еще того слития, которым началась история Франции. Пределы класть равно трудно везде и при всех исследованиях. Пределы, границы, отличительные признаки, распределяющие что бы то ни было на классы, роды, эпохи и какие бы то ни было отделы, всегда более или менее искусственны. Естественность же приема при распределении состоит именно в том, что можно назвать наглядностью, художественным, так сказать, тактом. Так делают и в естественных науках.[30]

На основании подобной же наглядности я полагаю, что весь период европейской истории до Карла Великого можно считать соответственным истории Греции героических времен Троянской войны, похода аргонавтов; время Нибелунгов соответствует временам Гомера. В римской истории этому периоду, мне кажется, соответствует время до основания Рима или, если угодно, и весь приготовительный период первых царей. Разница только в степени достоверности событий. Для ис-

тории смутного, приготовительного времени Европы мы имеем сравнительно много разнообразных более или менее достоверных свидетельств. Для истории приготовительного периода Эллады у нас есть только поэтическая истина гомерических стихов и т. п. Для первобытной истории Рима еще того меньше. Простирая аналогию дальше, я думаю, что период еврейской истории от Моисея до Судей соответствует опять тому же периоду странствий, вторжений — приготовительной догосударственной борьбы. Здесь опять мы имеем, как для европейской истории, свидетельства, которые иные могут оспаривать, но которые, по крайней мере, последовательны и ясны.

Халдеи времен Немврода, иранцы до времен Астияга и Кира — не то ли же самое? Вся разница, во-первых, повторяю, в степени достоверности свидетельств, которые мы имеем об этих приготовительных эпохах, в количестве и качестве подробностей, дошедших до нас; а во-вторых, в тех наиболее существенных, прирожденных свойствах, которые имели при начале своего пробуждения к истори-

ческой жизни различные народы и племена. Так, например, характер жреческий, теократический и вместе родовой преобладал у евреев, муниципальный — у греков и римлян, родственных по происхождению, сельско-аристократический феодальный — у европейцев и, может быть, у иранцев.

Эти чуть брезжущие в первобытной простоте и бесцветности отличительные признаки определили впоследствии весь характер их истории. Так, у римлян и греков и религия, и аристократия, и монархическое начало получили все муниципальный, градской оттенок. В Европе и аристократия, и монархия получили характер феодальный; и там больше, где было слабее влияние муниципальных преданий Рима, — в Германии, в Англии.

Сама светская власть папы и его духовное могущество косвенно определились влиянием германского феодализма.

Гениальный Гизо в своей «Истории цивилизации» и Пихлер в своей книге «Папство и Восточные Церкви» одинаковс развивают ту мысль, что на Востоке Император был один; аристократии не было, централизация была

сильна, и потому Церковь могла еще опираться на этого Императора. Но что было делать римскому епископу среди множества западных князей полуцарей, полувельмож, полуразбойников, как не увеличивать сперва свою политическую независимость для бескорыстного служения Церкви, а позднее и стремиться уже к власти и преобладанию? Именно усиление власти папы, разрыв с византийским Востоком, принятие Карлом Великим императорского титула и набеги норманнов (последнее явление так называемого переселения народов, по крайней мере, на Западе), вот эпоха, с которой впервые начинает ясно выделяться физиономия Западной Европы, с одной стороны, из германского, przygotowительного хаоса, с другой — из общей всему первоначальному христианству византийской окраски. Создав себе своего кесаря, в подражание Византии и вместе с тем назло ей, Европа, сама того не подозревая, вступала на совершенно иной путь. IX и X века поэтому, а никак не V, надобно считать началом собственно европейской государственности, определившей постепенно и самый характер

западной культуры, этой новой всемирной цивилизации, заменившей и эллино-римскую, и византийскую, и почти современную последней непрочную цивилизацию арави-тян.[31] Цивилизация европейская сложилась из византийского Христианства, германского рыцарства (феодализма), эллинской эстетики и философии (к которым не раз прибегала Европа для освежения) и из римских муниципальных начал. Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало, городское (буржуазия), с прошлого века победило все остальные и исказило (или, если хотите, просто изменило) характер и христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма римского, и эллинских как художественных, так и философских преданий.

Вместо христианских загробных верований и аскетизма явился земной гуманный утилитаризм; вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время и от-



радным, и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть экономический и моральный утилитаризм. Аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, «бесполезной (!) отвлеченной философией и вредной изысканностью высокого идеального искусства», эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или через посредство Рима времен Лукуллов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому и потому неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный, вредный для старого строя. Личные права каждого благоденствие всех (перерождение, демократизация германского индивидуализма и христианская личная доброта, обращенная в предупредительный безличный сухой утилитаризм) и здесь играют свою роль. «И я имею те же права!» — говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что «quod licet Jovi, non licet bovi», [32] — что идет Людовику XIV, то нейдет Гамбетте

и Руместану. Монархическая власть на Западе, везде бывшая сочетанием германской феодалности с римским кесаризмом, повсюду ослаблена и ограничена силой муниципальной буржуазии. Что касается до самого индивидуализма германского, который делал, что еще во времена Тацита германцы предпочитали смерть телесному наказанию, то это начало, служившее когда-то для дисциплины европейской (ибо тогда оно было уделом немногих, обуздывавших всех остальных), теперь стало достоянием каждого, и каждый говорит: «Monsieur! Tous les hommes ont les memes droits» (Вопрос, что это: догмат веры или факт точной науки?)

Но как бы то ни было, мы в истории Западной Европы видим вот что: Начиная с IX и приблизительно до XV, XVI и XVII и отчасти XVIII веков она разнообразно и неравномерно развивается.

Со времен Карла Великого, с IX и X веков, объединившего под своим скипетром почти всю материковую Европу, за исключением самых северных стран и самых южных частей ее, определяются приблизительно прежнего

будущие границы отдельных европейских государств. Католическая схизма выясняется резче. Вскоре по смерти Карла Великого появились те норманны, которых вмешательство в Англии, Италии и Франции способствовало окончательному выяснению государственного строя, политической формы этих стран. Норманны (именно те скандинавы Севера, которых недоставало империи Карла), явились на Юг сами, чтобы выполнить этот недостаток, чтобы связать своим вмешательством более прежнего воедино по духу всю Европу от полярных стран до Средиземного моря. С той поры частные европейские государства и общая европейская цивилизация развиваются яснее, выразительнее.

После единой персо-мидийской цивилизации воцарилась в мире раздробленная эллино-македонская культура, эту сменила опять единая римская; византийская (вселенская) была отчасти (в восточной своей половине) продолжением единой римской государственности, а отчасти на другой половине таила в недрах своих новую, опять как эллинская, но по-своему раздробленную европей-

скую культуру.

Объединенная в духе, в идеалах собственно культурных и бытовых, но раздробленная в интересах государственных, Европа была тем разнообразнее и вместе с тем гармоничнее; ибо гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством по временам и жестокая борьба. Такова и гармония самой внечеловеческой природы, к которой сами же реалисты стремятся свести и человеческую жизнь.

Я не буду распространяться здесь об юридическом, религиозном, областном, сословном, этнографическом, философском и художественном разнообразии Европы со времен Возрождения и до половины XVIII века. Это известно, и, чтобы вспомнить это лучше, достаточно открыть любое руководство или сочинение по всеобщей европейской истории, например, Вебера, Прево-Парадоля и других. В этом разнообразии все историки согласны; об этом богатстве содержания, сдержанного деспотическими формами разнородной дисциплины, все одинаково свидетельствуют. Многие писатели видят в этом лишь зло; ибо они

стоят не на реальной почве равнодушного исследования, а на предвзятой какой-нибудь точке зрения свободолюбия, благоденствия, демократии, гуманности. Они относятся к предмету не научно и скептически говоря: «Что выйдет — не мое дело»; они судят все с помощью конечной цели, конечной причины (запрещенной реалистам в науке), «они имеют направление», но факты остаются фактами, и, каковы бы ни были пристрастия писателей, история дает у всех одно и то же в этом случае явление развития, процесс постоянного осложнения картин, как общеевропейской, так и частных картин Франции, Италии, Англии, Германии и т. д. Кого бы мы ни взяли: протестанта и консерватора Гизо, прогрессиста Шлоссера, рационалиста и либерала Бокля, вига, и эстетика Маколея, — относительно нашего предмета все они окажутся согласными.

Тот же итог дадут нам не только историки, но и романисты, и хорошие, и худые, и поэты и публицисты, и самые краткие учебники, и самые тяжелые монографии, и самые легкие исторические очерки. Тот же итог с этой объ-

активной реальном точки зрения нам дадут и Вальтер Скотт, и Шекспир, и Александр Дюма-отец, и Гете, и Дж. Ст. Милль (см. книгу его «Свобода»), и Прудон, и Вильгельм фон Гумбольдт, и тяжелая монография Пихлера о разделении церквей, и любой хороший учебник. От XIV и XV до конца XVII и кое-где до половины XVIII, а частью даже и в начале нашего века Европа все сложнеет и сложнеет, крепнет, расширяется на Америку, Австралию, Азию; потом расширение еще продолжается, но сложность выцветает, начинается смешение, сглаживание морфологических резких контуров, религиозные антитезы слабеют, области и целые страны становятся сходнее, сословия падают, разнообразие положений, воспитания и характеров бледнеет, в теориях провозглашаются сперва: «les droits de l'homme», которые прилагаются на практике бурно во Франции в 89 и 93 годах XVIII века, а потом мирно и постепенно везде в XIX. Потом в теории же объявляется недостаточность этого политического равенства (упрощения) и требуется равенство всякое, полное, экономическое, умственное, половое; теоретические

требования этого крайнего вторичного упрощения разрешаются, наконец, в двух идеалах: в идеале анархического государственно, но деспотического семейно — идеале Прудона и в распущенно-половом, но деспотическом государственно — идеале коммунистов (например, Кабе и др.). Практику политического гражданского смещения Европа пережила; скоро, может быть, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, окончательного, упростительного смещения] Не мешает, однако, заметить мимоходом, что без некоторой формы (без деспотизма то есть) не могли обойтись ни Прудон, ни коммунисты: первый желал бы покрыть всю землю малыми семейными скитами, где муж — патриарх командовал бы послушниками — женой и детьми, без всякого государства. А коммунисты желали бы распределить все человечество по утилитарным киновиям, в которых царствовал бы свободно свальный грех, под руководством ничем не ограниченного и атеистического конвента. И тут и там возврат к дисциплине. *Les extremes se touchent!*[33] Итак, вся Европа

с XVIII столетия уравнивается постепенно, смешивается вторично. Она была проста и смешанна до IX века: она хочет быть опять смешанна в XIX веке. Она прожила 1000 лет! Она не хочет более морфологии Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, — должна будет пасть и уступить место другим!

Весьма сходные между собой вначале кельто-романские, кельто-германские, романо-германские зародыши стали давно разнообразными, развитыми организмами и мечтают теперь стать опять сходными скелетами. Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые создались у них в период цветущего осложнения и которые придавали столько разнообразия общей картине западного пышного сада; они сообщаются о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие-то остатки обременительных листьев и вредных цветов; они жаждут слиться в одно, в смешанное и упрощенное среднепропорциональное дерево. «Организация есть страдание, стеснение: мы



не хотим более стеснения, мы не хотим разнообразной организации!»

Везде одни и те же более или менее демократизированные конституции. Везде германский рационализм, псевдобританская свобода, французское равенство, итальянская распущенность или испанский фанатизм, обращенный на службу той же Распущенности. Везде гражданский брак, преследования католиков, везде презрение к аскетизму, ненависть к сословности и власти (не к своей власти, а к власти других), везде надежды слепые на земное счастье и земное полное равенство). Везде ослепление фаталистическое, непонятное! Везде реальная наука и везде не научная вера в уравниТЕЛЬНЫЙ и гуманный прогресс. Вместо того чтобы из примера 70-х годов видеть, что демократия везде губительна, — аристократическая и поэтическая Пруссия безумно расплывается в либеральной, растерзанной, рыхлой и неверующей все-Германии; она забывает, что если раздробление было иногда вредно единству порядка, то за то же оно было и несподручно для единства анархии. Однородные темпераменты, сход-

ные организмы легче заражаются одинаковыми эпидемиями!

Сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки — все это не есть опровержение мне. Это все лишь орудия смещения — это исполинская толчея, всех и все толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы; все это сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и все к одному знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса — сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек; буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных.

# Глава X

## Продолжение того же

Один из предрассудков, наиболее сильных в наше время, есть убеждение, что централизация безусловно вредна сама по себе. Обыкновенно нападают на централизацию Франции. Но несчастье вовсе не в самой централизации власти, несчастье в смешении форм жизни, в равенстве прав, в однообразии субъективного эвдемонического идеала и в более свободном чрез это столкновении интересов. Чем однороднее темперамент, тем разазы опаснее, тем требования однороднее. Если рассматривать дело не с точки блага всеобщего, а с точки зрения государственного охранения или порядка, то мы видим, что ни давняя централизация Франции, ни раздробленность Германии или Италии, ни провинциальные вольности прежней Испании, ни децентрализация Великобританской земли, ни разнородное горизонтальное (т. е. корпоративно сословное) расслоение всей прежней Европы не помешали всем отдельным госу-

дарствам Запада стоять долго неприкосновенными и сотворить многое множество великого и бессмертного для всего человечества. Не централизация власти гибельна для страны сама по себе; она спасительна, напротив, до тех пор, пока почва под этой властью разнообразна; ибо бессознательное или полусознательное: «Divide et impera» есть закон природы, а не иезуитизм и средняя низость, как думают очень многие люди нашего времени. Пока есть сословия, пока провинции не сходны, пока воспитание различно в разных слоях общества, пока претензии не одинаковы, пока племена и религии не уравнены в общем индифферентизме, до тех пор власть больше или меньше централизованная есть необходимость. И тогда, когда все эти краски начали бледнеть и мешаться, централизация власти остается опять-таки единственным спасением от дальнейшей демократизации жизни и ума.

Испания никогда не была так сосредоточена, как Франция, а разве ее положение лучше?

Италия? Разве она крепка? Разве дух ее

плодуч? Разве не ясно, что видимый кое-какой порядок в ней держится не внутренним духом, а внешними условиями общей политики. Разве, взирая неподкупленным глазом на бездарность, прозу, духовное бесплодие этой лжевозрожденной Италии не приходит на ум, что ее объединение свершилось как бы не с целью развития сложного и обособленного в единстве итализма, а лишь для косвенного ослабления Франции и Австрии, кия более глубокого расстройтва охранительных сил папизма, для облегчения дальнейшего хода ко всеобщему западному уравниению и смешению? Италия стала похожа на Францию Луи Филиппа — и больше ничего. Только много победнее умственной производительностью именно потому, что все это старо. А социалисты? Разве их нет в Италии? Если многословный и мечтательный период социализма прошел, тем хуже! Значит, он гнездится глубже в бездарных, но могучих толпах!

Ясно одно: Европа в XIX веке переступила за роковые 1000 лет государственной жизни.

Что же случилось с ней? Повторяю, она вторично смешалась в общем виде своем, со-

ставные части ее стали против прежнего гораздо сходнее, однообразнее, и сложность приемов прогрессивного процесса есть сложность, подобная сложности какого-нибудь ужасного патологического процесса, ведущего шаг за шагом сложный организм к вторичному упрощению трупа, остова и праха.

Вместо организованного разнообразия больше и больше распространяется разложение в однообразии. Факт этот, кажется, несомненен; исход может быть сомнителен, я не спорю; я говорю только о современном явлении, и если я сравню эту картину с картинами всех древних государств перед часом их гибели, я найду и в истории Афин, и в истории Спарты, и всей Эллады, и Египта, и Византии, и Рима одно только общее, именно под конец: уравнивание, всеобщее понижение, смешение, круглые, притертые взаимно голыши, вместо резких кристаллов, дрова и семена, годные другим новым мирам для топки и для пищи, но не дающие уже прежних листьев и цвета.

Нынешний прогресс не есть процесс развития: он есть процесс вторичного, смеси-

тельного упрощения, процесс разложения для тех государств, из которых он вышел или который крепко усвоился... Иногда... кажется и для всего мира — Япония, например, тоже европеизуется (гниет). Что же сделали над собой европейские государства, переступая за роковое 1000-летие?

Они все испортили у себя более или менее в частностях ту государственную форму, которая выработалась у та в период цветущей сложности. Они все постепенно изменили той системе отвлеченных, вне личного субъективного удовольствия постановленных идей, которые выработались у них в эпоху морфологическую и вознеслись над ними как знамя, как великая руководящая тень. С конца XVIII века и в начале нашего на материк Европы вторглись ложно понятые тогда англо-саксонские конституционные идеи. Испания была самодержавной, но децентрализованной монархией. Ее попытались сделать более конституционной, ограниченной; попытались ослабить власть и усилить, сосредоточить представительство народа. Приблизив Испанию более к этому лжебританскому ти-

пу, упростили этим самым еще немного общую юридическую картину Европы.

И что ж мы видим? Франция? Но говорить ли о столь известной истории Франции, которая так ясна и поучительна! Ее форма была самодержавие централизованное, аристократическое и католическое.

Обманчивое, пламенное величие 89-го года изменило все это. С тех пор Франция все больше и больше смешивалась, Уравнивалась всячески, пока 71-й год не обнаружил, что у нее многолюден, но нет человека, вождя! Вождей создает не парламентаризм, а реальная свобода, т. е. некоторая свобода самоуправления. Надо уметь властвовать беззастенчиво!

И заметьте, именно с 60-х годов, как только либеральная партия жалких Жюль Фавров и К° начала брать верх, как только Наполеону III стали вязать руки, так и началась ошибка за ошибкой, несчастье за несчастьем. Не власть виновата, виновата непокорность!

Теперь Франция очень смешана и даже проста: она демократическая республика Прочна ли она?



Что делает Германия? Во-первых, прежде всего напомним, что политически умерли уже все государства средней и южной Германии, т. е. те, в которых, особенно после 48-го года, стало больше равенства и свободы и больше рационализма. (Риль чрезвычайно художественно описывает это смешение средней Германии.) Только одна католическая Бавария еще обнаруживает признаки жизни благодаря своему своеобразию, своей отсталости (тоже у Рилья есть о баварских селянах прекрасные места).

Победила всех и все Пруссия, у которой были: 1) Король набожный и почти всевластный; 2) конституция плохая, т. е. дававшая возможность власти делать дело; 3) привилегированное и воинственное юнкерство. Итак, именно все то, чего не было или чего было меньше у средней Германии в 66-м и у Франции в 70-х годах.

Но... дальше что? Ренан, который был либералом, кажется, только в религии (что, конечно, хуже всего), после поражения французской демократии, осрамившейся без императора еще хуже, чем при нем. Ренан в отчая-

нии воскликнул, что без аристократии жить нельзя государству; но так как назад не может возвратиться никто, так пусть, говорит он, продолжается наше демократическое гниение. Мы постараемся отмстить нашим соседям, заражая и их тем же.

Вскоре после этого газета «Times» напечатала следующее—«Мщение Франции осуществляется — старая Пруссия демократизируется» и т. д. И вот мы видим, что влияние прусской аристократии в округах уничтожено, католическая партия и церковь преследуются так, что само протестантское духовенство смущено (этот бессильный протестантизм!), вводится обязательный гражданский брак (т. е. юридический конкубинат). Что касается до всеобщей грамотности, всеобщего ополчения и всеобщего единства, до железных дорог повсюду и т. п., то это все вещи обоюдоострые, сегодня для порядка, а завтра для разрушения удобны. Это все служит тому же вторичному смещению.

Внешняя политика скользка между славянами и Францией. Либералы сильны лишь оппозицией и фразами в мирное время. У ли-

бералов XVIII века были новые идеи, старые ненависти и материальные интересы на подачку простому народу. Есть ли все это у нынешних либералов? Австрия, побежденная под Садовой, вступила искренно впервые в новую эру свободы и равенства и — распалась надвое, опасаясь со дня на день распада на 5–6 частей.

Турция — даже и та едва держится, и держится она не сама, но лишь внешними обстоятельствами и внутренними раздорами христиан. С каких это пор? С тех пор как она более прежнего уравнила права и положение разновременных, с тех пор как демократизировалась по-своему. Если бы дать ей еще парламент, как хотели англичане, чтобы парализовать влияние России и генерала Игнатьева на самодержавного султана, то, прибавив либеральную неурядицу к эгалитарной слабости, Турция не простояла бы и нескольких лет. Остается одна Англия. Здесь эгалитарный процесс не так еще резко выразился.[34] Что касается до либерализма в тесном чисто конституционном или политическом смысле, то он уже был издавна присущ естественной ор-

ганизации этой страны. Если же расширить понятие свободы, то она в некоторых отношениях непременно совпадет с равенством. А такой свободы в Англии не было прежде. Ни диссидентов Англии, ни католиков вообще, ни ирландцев, ни бедные классы нельзя было назвать вполне свободными даже и политически. Свободные учреждения Англии были до новейшего времени тесно связаны с привилегиями англиканской церкви.

Равенства, в широком смысле понятого, в Англии было сначала, пожалуй, больше, чем, например, во Франции, но потом, именно по мере приближения цветущего периода (Елизавета, Стюарты, Вильгельм Оранский и Георги) и юридического, и фактического равенства стало все меньше и меньше. И Англия, как всякое другое государство, как всякая нация, как всякий организм, даже более, как все существующее и в пространстве, и в сознании (как дерево, как человек, как философские системы, как архитектурные стили), подчинилась всеобщему закону развития, который состоит в постепенном осложнении содержания, сдерживаемого до поры до време-

ни деспотизмом формы; по тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, т. е. стремится к высшему единству в высшем разнообразии (к оригинальности), а потом расплывается, смешивается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет.

С первого взгляда кажется, как будто Англии посчастливилось больше других стран Европы. Но едва ли это так. Посмотрим, однако, повнимательнее. Конечно, Англии посчастливилось сначала тем, что она долго сбывала свои горючие материалы в обширные колонии. Англия демократизировалась на новой почве — в Соединенных Штатах Америки.

Соединенные Штаты относятся к Великобритании в пространстве, точно так же, как Франция XIX века относится ко времени к Франции XVII. Америка Вашингтона и Линкольна, Франция Наполеона I, Наполеона III — это одинаково демократически смешанные страны, вышедшие посредством процесса вторичного смешения, первая из Англии Елизаветы, Вильгельма III и Питта, вторая из Франции Франциска I, Ришелье и Людовика

При процессе вторичного смесительного упрощения, я, кажется, уже говорил, до полной первоначальной племенной простоты и бледности государства и нации, прежде своего окончательного разрушения или глубокого завоевания, никогда не доходят. Они всегда сохраняют до последней минуты некоторые черты своего цветущего периода. Так Спарта кончила жизнь с двумя царями. Рим со своей законной диктатурой императора и даже с тенью Сената. Так Афины умирали с фактическими излюбленными демагогами во главе, с Демосфенами и Фокионами.

Византия пала с православным кесарем на стенах нового Рима и т. д. И дабы еще раз убедиться, что приведенные мною многократно примеры из жизни не политической, а из явлений природы и из истории духа человеческого употреблены были не как риторическое уподобление, а в виде попытки объяснить реалистическими всеобщими законами историю развития и в особенности падения государств, упомяну здесь о том, что и во всем существующем мы встречаем то же. Именно

мы видим, что при процессе разложения и смерти остаются до последней минуты некоторые черты, выяснившиеся в период цвета или сложности.

Так зародыши всех животных очень схожи между собой, очень просты и разнообразны; плоды утробные всех млекопитающих крайне однородны и схожи вначале; но остатки разных животных довольно еще различны, пока не распадутся в прах (например, внутренний скелет позвоночных, наружные покровы умерших суставчатых, раковины моллюсков и т. д.). Так деревья, высохшие и лишенные листьев, хранят еще следы своей прежней организации: они проще, однообразнее, малосложнее прежнего, но опытный, внимательный глаз по рисункам коры, по общим контурам ствола и ветвей, по росту различает, который дуб, которая яблоня, который тополь или маслина. Так протестантизм, который был сначала не что иное, как вторичное смесительное упрощение католицизма, сохранил в себе, однако, некоторые черты римской церкви. Кончив это необходимое замечание, я обращаюсь опять к англо-саксон-

ской истории. Итак, Великобритания сначала смешалась и даже упростилась вначале за океаном и тем спасла себя от внутреннего взрыва и от насильственной демократизации дома. Но она не спасла себя все-таки от частного разложения. Насильственное отпадение упрощенной заатлантической Англии произошло почти в одно время с насильственным внутренним смещением Франции. И то и другое событие относится ко 2-й половине прошлого века.

Обладая Индией, Австралией и другими колониями, завоевывая то Канаду, то Гибралтар, присоединяя то Мальту, то Ионические острова, Великобритания вознаграждала, правда, себя за эту потерю посторонним новым разнообразием вне своих пределов, подобно Древнему Риму, который, смешиваясь и отчасти в смысле однообразия и упрощаясь внутренне, но вместе с тем присоединяя своеобразные и неравноправные с собой страны, поддерживал долго свое существование. Закон разнообразия, способствующего единству, и тут остается в полной силе. Завоевания оригинальных стран — единственное



спасение при начавшемся процессе вторичного смешения.

Однако с 20-30-х годов и в недрах самой Англии начался прогресс демократический. И у нее явились радикалы. И эти радикалы, как бы именно для того, чтобы сблизить государственный тип Великобритании с типами материка Европы, чтобы упростить в будущем и уравнять в настоящем картину всего Запада, нередко бывают централизаторами. Таков, например, во многих случаях и сам Джон Стюарт Милль. Разнородные и странные особенности английской организации понемногу сглаживаются, оригинальные обычаи сохнут, быт разных провинций становится более однородным. Права католиков уравниены, однообразия воспитания и вкусов гораздо больше прежнего. Лорды уже не брезгают поступать директорами банков. Средний класс, как и в других странах Европы, преобладает давно. Господство же среднего класса есть тоже упрощение и смешение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого «буржуа». Поэтому и Прудон, этот упрощитель *par excellence*, с жаром

уверяет, что цель всей истории состоит в том, чтобы обратить всех людей в скромных, однородного ума и счастливых, не слишком много работающих буржуа. «Будем крайни теперь в наших порывах! — восклицает он, — чтобы дойти скорее до этого среднего человека, которого прежде всего выработал tiers-etat Франции!» Хорош идеал! Однако во всех странах идут люди по следам Франции. Недавние известия из Англии говорят, что г. Брайт, например, в речах своих выражает нетерпение, «когда же Англия станет настоящей свободной страной?» Любопытно сравнить с подобными речами передовых англичан вопли раскаяния многих несомненно умных французов, например Ренана. Жаль будет видеть, если англичанам придется брать уроки поздней мудрости у безумных французов. Дай Бог нам ошибиться в нашем пессимизме! Мирный постепенный ход эгалитарного прогресса, вероятно > Должен иметь на ближайшее будущее нации действие иное, чем имеют на это ближайшее будущее перевороты бурные, совершающиеся с целью того же эгалитарного процесса. Но на будущее более отдаленное, я по-

лагаю, действие бывает сходное. Мирное смешение прежде, расстройство дисциплины и необузданность после. Однообразие прав и большее противу прежнего сходство воспитания и положения антагонизма интересов не уничтожает, быть может, усиливает, ибо потребности и претензии сходнее.

К тому же замечается, что везде под конец государственности усиливается неравенство экономическое параллельно и одновременно с усилением равенства политического и гражданского.

Страданий не меньше прежнего; они другого рода, новые страдания, которые чувствуются глубже, по мере того вторичного уравнивания в понятиях, во вкусах, в потребностях, которое настает по окончании сложного цветущего периода общественной жизни.

Гипотеза вторичного упрощения и смешения, которую я пытаюсь предложить, имеет, конечно, значение более семиологическое, чем причинное (чем этиологическое). Вторичное упрощение и вторичное смешение суть признаки, а не причина государственного разложения.

Причину же основную надо, вероятнее всего, искать в психологии человеческой. Человек ненасытен, если ему дать свободу. Голова человека не имеет формы гвардейского павловского шишака, плоскую сзади в стороне чувств и страстей, высокую, развитую спереди в стороне рассудка. И, благодаря этому развитию задних частей нашего мозга, разлитие рационализма в массах общественных (другими словами, распространение больших против прежнего претензий на воображаемое понимание) приводит лишь к возбуждению разрушительных страстей, вместо их обуздания авторитетами. Так что наивный и покорный авторитетам человек оказывается, при строгой проверке, ближе к истине, чем самоуверенный и заносчивый гражданин уравненного и либерально-развинченного общества. Русский безграмотный, но богомольный и послушный крестьянин эмпирически, так сказать, ближе к реальной правде житейской, чем всякий рациональный либерал, глупо верующий, что все люди будут когда-то счастливы, когда-то высоки, когда-то одинаково умны и разумны. Разве реалисты не стали бы

смеяться над тем, кто сказал бы, что прямые углы были равны только по ошибке наших отцов, а отныне и впредь будет все иначе на этой бедной земле?..

Лукавые происки властителей и преобладающих классов сделали то, что земля обращалась около солнца. Это невыгодно для большинства. Мы сделаем то, что земля будет обращаться отныне около Сириуса! Прогресс нарушит все основные законы природы... Животные будут мыслить печенью, варить пищу легкими, ходить на голове!.. Все ячейки, все ткани будут однородны, все органы будут совершать одинаковые отправления и в полной гармонии (не антитез, а согласие!) Если и в Англии уже довольно ясно выразился процесс демократического упрощения, то можно желать от всего сердца, чтобы дальнейший ход этого процесса совершался в ней как можно медленнее, чтобы она как можно дольше оставалась поучительным примером сложности и охранения. Но можно ли уверять себя, что Англия Гладстонов и Брайтов то же самое, что Великая Британия Питтов и даже Роб. Пилей? Р. Пиль был великий государственный

муж: он крайне неохотно уступал прогрессу смещения и уравнения. Он не увлекался им, как наши политические деятели. Он говорил: «Я не нахожу более возможным продолжать борьбу». Повторяю еще раз: все государства Запада сначала были схожи, потом стали очень различны друг от друга и внутренне сложны, а теперь они опять все стремятся сойтись на почве Эгалитарной разнузданности. Серьезный, солидный психический характер нации не поможет тут ничего.

Твердые и тяжелые вещества, сталкиваясь в беспорядке, Умствуют друг на друга еще разрушительнее мягких или легких.

Все сливается и все расторгается.

# Глава XI

## Сравнение Европы с древними государствами

Здание европейской культуры было гораздо обширнее и богаче всех предыдущих цивилизаций.

В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов, воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны громаднее, философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (например, эллино-римской), аристократия резче римской, монархия в отдельных государствах определеннее (наследственнее) римской; вообще самые принципы, которые легли в основание европейской государственности, были гораздо многосложнее древних.

Чтобы потрясти такое сложное по плану

(см. об этом предмете у Гизо в «Истории цивилизации») и величественное, небывалое здание, нужны были и более сильные средства, чем в древности. Древние государства упрощались почти нечаянно, эмпирически, так сказать.

Европейские государства упрощаются самосознательно, рационально, систематически. Древние государства не проповедовали сознательно религии прогресса; они эмансипировали лица, классы и народы от старых уз цветущего периода и отчасти вопреки себе, вопреки своему идеалу, который в принципе был вообще консервативен.[36]

Европа, чтобы растерзать скорее свою благородную исполинскую грудь, поверила в прогресс демократический, не только как во временный переход к новой исторической метемпсихозе, не только как в ступень к новому неравенству, новой организации, новому спасительному деспотизму формы, нет! — она поверила в демократизацию, в смешение, в уравнение, как в идеал самого государства! Она приняла жар изнурительной лихорадки за прорезывание младенческих зубов, за госу-



дарственное возрождение из собственных недр своих, без помощи чуждого притока! Древность поэтому не может представить той картины систематического, рационального смешения, того, так сказать, научно предпринятого вторичного упрощения, какое представляют нам государства Европы с XVIII века. У древности это движение менее ясно, менее резко, менее окончено; но можно убедиться, что и во всех древних государствах вторичное упрощение картины — ослабление, подвижность власти, расшатывание каст, и поэтому неорганическое отношение людей, племен, религий, более однообразное противу прежнего устройство областей предшествовали падению и гибели.

В некоторых случаях прошедшее служит примером и объяснением настоящему; в других настоящее своей ясностью и резкостью раскрывает нам глаза на что-либо более смутное и темное в прошедшем.

Сущность явления та же; сила, выразительность его могла быть разная, при разных условиях времени и места.

Припомним кратко, как кончали свою

жизнь различные государства древности. Отдельное Афинское государство было погублено демагогами. Это до того уже известно, что ученику гимназии, который не знал бы о роде Клеона, о консервативном или реакционном духе комедии Аристофана, о напрасных попытках спартанцев, Крития, 30 тиранов, Пизандра и др. восстановить аристократическое правление в анархическом городе, такому Ученику поставили бы на испытании единицу.

Устройство Афин, уже со времен Солона не слишком аристократическое, после Перикла приняло вполне эгалитарный и либеральный характер. Что касается до Спарты, она шла другим путем, была беднее и крепче духом, но и с ней случилось под конец то же, что с нынешней Пруссией: государство бедное, более суровое и более аристократическое победило другое государство более торговое, более богатое и более демократическое, но немедленно же заразилось всеми его недостатками.

Спарта под конец своего существования изменила только одну существенную черту своего быта: она освободилась от стеснитель-

ной формы своего аристократического сословного коммунизма, по которому все члены неравных горизонтальных слоев были внутри этих слоев равны между собою.

В ней стало больше политического равенства, но меньше экономического. Около 400–350 гг. до Р. Х. общественные имущества были объявлены частными (как и в других местах), и всякий стал волен располагать ими, как хотел, всякий получил равное право богатеть и беднеть по воле.

Организация Спарты, дорийская форма, испортилась и стала приближаться постепенно к тому общему среднему типу, к которому стремилась тогда Эллада бессознательно. Реакция царей Агиса и Клеомена в пользу Ликурговых законов так же мало удалась, как и реакция афинских олигархов.

Что касается до общей истории эллинского падения, то самое лучшее привести здесь несколько слов из руководства Вебера. Для таких широких вопросов хорошие учебники самая верная опора. В них обыкновенно допускается лишь то, что признано всеми, всей наукой:

«Мы видели, — говорит Вебер, — что греческий гений уничтожил и разбил мало-помалу строгие формы и узкие пределы восточной (я бы сказал не восточной, а просто первоначальной) организации, распространил личную свободу и равенство прав для всех граждан до крайних пределов и, наконец, в своей борьбе против всякого ограничения личной свободы, чем бы то ни было, традициями и нравами, законом или условиями, потерялся во всеобщей нестройности и непрочности». Далее я не выписываю (см. «Всеобщая история» Вебера, заключение греческого мира, последние страницы).

Я привел отрывок из общепринятого немецкого руководства. Но можно найти почти то же в сочинении Гервинуса «История XIX века». Гервинус начинает свою книгу с того, что находит большое сходство между последними временами павшей Эллады и современностью торжествующей Европы. И Гервинус верит в будущее: «Исторические размышления избавили меня от пламенных ожиданий, волнующих других, и тем предохранили от многих заблуждений, но вместе с

тем эти размышления никогда не отказывали мне в утешении и поддержке». Таковы слова знаменитого ученого. Он не говорит, однако, на какие именно утешения он рассчитывает, на всеобщее благо, хотя бы купленное ценою падения современных государств, или на долгую государственную жизнь современной демократии? А различить это было бы очень важно. Вернее, что он думает о последнем. Гервинус находит и в истории эллинизма, и в современности следующие сходные явления:

«Везде, — говорит он, — мы замечаем правильный прогресс свободы духовной и гражданской, которая сначала принадлежит только нескольким личностям, потом распространяется на большее число их и, наконец, достается многим. Но потом, когда государство совершит свой жизненный путь, мы снова видим, что от высшей точки этой восходящей лестницы развития (я бы сказал разлития!) начинается обратное движение просвещения, [37] свободы и власти, которые от многих переходят к немногим и, наконец, к нескольким».

«В Элладе воцарилась перед падением ти-

рания; в Европе теперь (говорит он в издании 1852 г.) абсолютизм». Видимо, он находился под впечатлением воцарения Наполеона III и реакции в Германии.

Но последствия доказали, что Наполеон III еще больше демократизировал Францию, а монархическая реакция Германии, рядом антитез политических, привела эту страну точно так же к современному ее смешительному процессу. К тому же я не вижу, чтобы тирания единоличная была в Элладе везде в эпоху падения. Главные два представителя эллинизма, Афины и Спарта, пали в республиканской форме.

Если же считать и монархический македонский период за продолжение эллинской государственности (хотя это будет не совсем строго), то надо будет заключить вот что: абсолютизм, на почве уже вторично смешанной и уравненной, конечно, есть единственный якорь спасения; но действительность его не слишком прочна без притока нового дисциплинирующего разнообразия. Греко-македонские монархии простояли очень недолго. Наполеон III пал, и будущее объединенной и

смешанной Германии, по аналогии, должно быть сомнительным, по крайней мере.

Ясно, что и Гервинус не свободен от религии «des grands principes de 89». Причины падения древнего Египта так же хорошо известны, как и причины падения эллинских государств, хотя и в более общих чертах, с менее осязательными подробностями.

И здесь мы увидим то же, что и везде. В цветущем периоде сложность и единство, словность, деспотизм формы; потом еще большее, но мгновенное увеличение разнообразия посредством небывалого дотоле допущения иностранцев (греков и финикийян при Псамметихе и Нехао; 200 000 емкое выселились при виде такого прогресса), возрастание богатства, торговли и промышленности, поэтому большая подвижность классов и всей жизни, потом незаметное сразу уравнивание, смешение, слитие и... наконец, почти всегда неожиданное, внезапное падение (Нехао-Лесепс, Камбиз и т. д.).

Говорить ли о Риме? Его постепенная демократизация слишком известна. Смешивался и уравнивался он не раз. Первый раз пат-

риции смешались, уравнились постепенно с плебеями в маленьком, первоначальном Риме. Это придало Риму, как всегда бывает, мгновенную силу, и он воспользовался этой силой для завоеваний в Италии. При этих завоеваниях наставшее внутреннее уравнительное упрощение восполнилось новым разнообразием как быта присоединяемых областей, так и неравномерными правами, даруемыми им.

Потом почти вся Италия смешалась, сравнялась в правах и, вероятно, в духе и быте. Начались завоевания на юге и западе, на севере и востоке весьма разнообразных племен и государств.

Все простые аристократические реакции Кориоланов, Сулл, Помпеев, Брутов и здесь не удались надолго, хотя, конечно, и сделали свою долю пользы в смысле какой-нибудь еще не понятной нам пондерации реальных сил общества. Цезарь и Август еще более демократизировали государство: они были вынуждены ходом развития сделать это, и осуждать их за это нельзя. Время от Пунических войн приблизительно до Антонинов включи-



тельно есть время цветущей сложности Рима. Упрощаясь в одном, развязывая себе руки, он еще более разнообразился, вырастая до тех пор, пока силы, сменяющиеся и упрощающие все существующее, не взяли и в нем верх над силами осложняющими и объединяющими, над силами организующими. Каракалла (в III веке по Р. Х.) уравнил права всех граждан, рожденных не от рабов, по всей империи. При Диоклетиане (который был сам сын раба) мы стоим уже у ворот Византии. Не находя около себя сословных начал, он ввел сложное чиновничество (вероятно, по образцам древневосточным, персо-халдейским; ибо все возвращается, хотя и несколько в новом виде). После него Константин принял христианство. Вместо политеистического, муниципально-аристократического, конституционного, так сказать, Рима явилась христианская, бюрократическая, но все-таки муниципальная, кесарская Византия.

Старая эллино-римская муниципальность, старый римский кесаризм, новое христианство и новое чиновничество на образец азиатский — вот с чем Византия начала свою

1000-ле-нюю новую жизнь.

Как государство Византия провела, однако, всю жизнь лишь в оборонительном положении. Как цивилизация, как религиозная культура она царила долго повсюду и приобретала целые новые миры, Россию и других славян. Как государство Византия была немолода. Она жила вторую жизнь — доживала жизнь Рима.

Она была молода и сильна религией. И разнообразие ее было именно на религиозной почве. Замечательно, что к X веку были почти уничтожены или усмирены все ереси, придававшие столько жизни и движения византийскому миру. Торжество простого консерватизма оказалось для государства так же вредно, как и слишком смесительный прогресс. Весь Запад отложился от Церкви, и православные (уравненные) болгары Симеона оказались опаснее болгар-язычников Крума. Империя едва-едва справилась с ними. Церковь, приостанавливаясь, была права для себя; она выработала главные черты догмата, обряда и канона, предоставляя подробности разнообразию времени и места.

Нравственная жизнь Церкви не ослабела. Святые отшельники продолжали на Востоке действовать своим возбуждающим примером на паству; были и мученики; в дальней России Православие росло под византийским влиянием. Ему предстоял еще бесконечный путь. Но под этой осмысленно приостановившейся философией Церкви продолжало скудное прежнее существовать слишком подвижное, смешанное в частях своих государство. Права были до того уравнены, что простые мясники, торговцы, воины всяких племен могли становиться не только сановниками, но даже императорами.

С IX–X века зрелище Византии становится все проще, все суше, все однообразнее в своей подвижности. Это процесс какого-то одичания, вроде упрощения разнообразных садовых яблок, которые постепенно все становятся одинаково дикими и простыми, если их перестать прививать. Этот род вторичного упрощения, падения, господствовал также в Италии после блестящей эпохи Возрождения; в Испании он настал после Филиппа II; он грозил бы, вероятно, и Франции после Людовика

XV, если бы не произошла вспышка 89-го года, заменившая принижение застоя порывистым смешением прогресса, тихую сухотку — восторженной холерой демократии и всеобщего блага! Необходимы новые элементы, но элементы, почерпнутые из сил своего только народа или близкого нам племени, страдающего, подобно нам, простотою или смешением, мало полезны; они, конечно, предотвращают падение на несколько времени и дают всегда период шумной славы, но не надолго. Упрощающий прогресс есть уже не одичание упрощающего одностороннего охранения, а последнее плодоношение и быстрое гниение. Блеска много, прочности никакой. Примеры Франции времен республики и 1-й империи, Италии 59-60-х годов и, вероятно (для меня, сознаюсь, и несомненно даже), Германии завтрашнего дня — на глазах. Раз упростившись политически и сословие, неизбежным ходом дел, государству остается одно: или разлагаться, или сближаться с новыми чуждыми, несхожими элементами, — присоединять, завоевывать новые страны, носящие в себе условия дисциплины, и не спешить [с] глубо-

ким внутренним единением всего, не становится слишком однообразным, простым по плану или узору. Что скажет нам, наконец, великая Персия Кира и возрожденная держава Сассанидов? Разумеется, несмотря на все усилия науки, несмотря на клинообразные надписи и на многие другие археологические открытия последнего времени, подробности персидской истории менее для нас осязательны, чем подробности истории эллинов, римлян и византийцев, дошедшие до нас в стольких письменных документах. Однако индуктивно, исходя из других примеров, мы можем и в этом государстве предполагать движения, сходные с нынешним в общих чертах. Начало до Кира: простота бытовая, простая религия огня, простые феодальные вожди. Однообразие зеленых яблок.

Потом завоевание мидийских и халдейских стран. Присоединение Лидии, греков, египтян, евреев, чрезвычайная пестрота и могучее царское единство.

Можно себе без особенного труда и ошибки вообразить, как велико должно быть разнообразие быта, религии, языков, разнород-

ность прав и привилегий в этой обширной империи после Камбиза и до Дария Кодомана. Все объединялось в лице великого царя, который был олицетворением Бога на земле. Сатрапы, управлявшие довольно независимо разнообразными областями, были, вероятно, большею частью, сначала иранского, феодального происхождения. Но двор царя для объединения должен был, конечно, опираться не на одних природных феодалов-иранцев, а для равновесия и на разные другие, более смешанные, демократизированные, протестующие силы других народностей. Двор великого царя, бывший центром сложного цветения, должен был стать постепенно и исходной точкой постепенного смешения и сравнительного уравнивания людей, племен, религий. Мы видели, что всякого рода люди проникали ко двору: халдеи, греки, евреи. История еврея Мардохея и македонянина Амана одна уже доказывает это. Демократическое расстройство империи, однако, было, вероятно, еще неглубоко в эпоху Дария Кодомана и Александра Великого.

Несмотря на кажущуюся победу греко-ма-

кедонян, победила, в сущности, Персия. Ибо после смерти Александра о Греции, собственно, об Элладе республиканской и помина уже нет; а македонские царства все кончили свою жизнь через 2 или 3 столетия, все погибли под ударами Рима еще до Р. Х. К тому же видно по всему, что греки повлияли гораздо меньше на персов, чем персы на них и на учеников их — римлян. До столкновения с персами греки были своеобразнее, чем стали после этого соприкосновения, и государственный дух персидского царизма влиял не только на них, но гораздо позднее и на римлян, и еще более на переработанных Востоком византийцев.

Греко-македонская государственность немедленно после смерти Александра была отодвинута к северным и западным окраинам Персии, и вскоре после этого мы видим в восточной части прежней империи свежий приток парфян, снова простых, снова феодальных, воинственных и, может быть, родственных по племени древним иранцам. Рим не может вполне победить их.

Под их влиянием воздвигается новое цар-

ство огнепоклонников, с той же религией, с теми же (вероятно, в главных чертах) государственными принципами, и проживает до XII века до Р. Х.

В этом веке древнее государство гибнет от руки мусульман, и самая религия Зороастра исчезает почти вовсе из истории. Не знаю, существуют ли подробные ученые труды о царстве Сассанидов. Мне они не известны. Но, продолжая надеяться на аналогию, я думаю, что те смешивающие причины, которые действовали при последних Ахеменидах, могли в империи возобновленной (и потому уже все-таки не юной) действовать еще глубже.

Может быть, и к тому сложному чиновничеству, которое, говорят иные, послужило отчасти образцом византийскому, Цари Сассаниды должны были прибегнуть уже как к подспорью парфянского феодализма. А сложное подвижное чиновничество, разумеется, при всех остальных равных условиях, есть средство дисциплины для низших классов (и для сталкивающихся интересов вообще) менее прочное, чем соединение и взаимное равновесие родовой аристократии и чтимой все-



ми монархии. Граф Гобино в своей книге «Histoire des Perses»[38] утверждает, что Царство Сассанидов именно и создано было разноплеменной демократией, низвергнувшей военный феодализм парфян.

Из всего сказанного, мне кажется, позволено заключить следующее: 1. Что мы можем находить значительную разницу в степени упрощения и смешения элементов в последние годы жизни у разных государств, но у всех найдем этот процесс, сходный в общем характере с современным эгалитарным и либеральным прогрессом Европы.

2. Что культуры государственные, сменявшие друг друга, были все шире и шире, сложнее и сложнее: шире и по духу, и по месту, сложнее по содержанию; персидская была шире и сложнее халдейской, лидийской и египетской, на развалинах коих она воздвиглась; греко-македонская на короткое время еще шире; римская покрыла собою и превтвила в себе все предыдущее; европейская развилась несравненно пространнее, глубже, сложнее всех прежних государственных систем. Полумеры не могли ее расстроить: для

ее смешения, упрощения, потребовалось более героическое средство, выдумали демократический прогресс — *les grands principes de 89* и т. п.

Вместо того чтобы понять прогресс так, как его выдумала сама природа вещей, в виде хода от простейшего к сложнейшему, большинство образованных людей нашего времени предпочли быть алхимиками, отыскивающими философский камень всеблаженства земного, астрологами, вычисляющими мечтательные детские гороскопы для будущего всех людей, бесплодно и прозаично уравненных. В самом же деле Запад, сознательно упрощаясь, систематически смешиваясь, бессознательно подчинился космическому закону разложения.

# Глава XII

## Заключение

Неужели я хочу сказать всем этим, что европейская цивилизация уже теперь гибнет? Нет! Я повторял уже не раз, что цивилизации обыкновенно надолго переживают те государства, которые их произвели.

Цивилизация, культура есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью наций. Она, как продукт, принадлежит государству; как пища, как достояние, она принадлежит всему миру. Некоторые из этих культурных плодов созревают в ранние эпохи государственности, другие в средней, зрелой, третьи во время падения. Один народ оставляет миру в наследство больше, другой меньше. Один по одной отрасли, другой по другой отрасли.

Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного.

Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо рабочую республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности?

Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое всеевропейское государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть сколько-нибудь чтимых преданий, быть может... (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы.

На розовой воде и сахаре не готовят такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем Железа, огня, крови и рыданий!.. И, наконец, как бы то ни было, на розовой ли воде ученых съездов или на крови выросла бы эта новая республика, во всяком случае Франция, Германия, Италия,

Испания и т. д. падут: они станут областями нового государства, как для Италии стали областями прежний Пьемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для все-Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и самая Пруссия, они станут для все-Европы тем, что для Франции стали давно Бургундия, Бретань!.. Мне скажут: «Но они никогда не сольются!» Я же отвечу; «Блажен, кто верует: тепло ему на свете!» Тем лучше и для их достоинства, и для нашей безопасности; но имеем ли мы право не быть бдительными и убаюкивать себя тем, что нам нравится? Чему учит здравый смысл? Чему учит практическая мудрость? Остерегаться ли худшего, думать о нем или отгонять мысль об этом худшем, представлять себе своего врага (эгалитарную революцию) бессильным, так, как представляли себе пруссаков французы?

Необходимо всегда иметь при подобных суждениях в виду тот крайний идеал, который существует в обществах; ибо люди непременно захотят испытать его. Необходимо помнить, что нововводители, рано или поздно, всегда торжествуют, хотя и не совсем в

том смысле, которого они сознательно искали. Положительная сторона их идеала часто остается воздушным замком, но их деятельность разрушительная, ниспровергающая прежнее, к несчастью, слишком часто бывает практична, достигает своей отрицательной цели.

Для ниспровержения последних остатков прежнего государственного строя Европы не нужно ни варваров, ни вообще иноземного нападения: достаточно дальнейшего разлития и укрепления той безумной религии эвдемонизма, которая символом своим объявила: «Le bien-etre materiel et moral de l'humanite». [39] Необходимо помнить, что очень многие в Европе желают слияния всех прежних государств Запада в одну федеративную республику; многие, не особенно даже желающие этого, верят, однако, в такой исход, как в неизбежное зло. Для низвержения монархического порядка в Германии достаточно неловкого шага во внешней политике, неудачной борьбы с соединенными силами славян и Франции... Многие, сказал я, не желающие, быть может, слияния всех нынеш-

них государств Запада в одну республиканскую федерацию, верят, однако, в такой исход. В него верит Тьер, хотя и сознается в одной из своих речей, что «рад бы был не дожить до этой новой цивилизации».

Я полагаю: наш долг — беспрестанно думать о возможности, по крайней мере, попыток к подобному слиянию, к подобному падению частных западных государств. И при этой мысли относительно России представляются немедленно два исхода: или 1) она должна и в этом прогрессе подчиниться Европе, или 2) она должна устоять в своей отдельности?

Если ответ русских людей на эти два вопроса будет в пользу отдельности, то что же следует делать?

Надо крепить себя, меньше думать о благе и больше о силе. Будет сила, будет и кой-какое благо, возможное.

А без силы разве так сейчас и придет это субъективное личное благо? Падений было много: они реальный факт. А где же счастье? Где это благо? Что-нибудь одно: Запад или 1) устроится надолго в этой новой республикан-

ской форме, которая будет все-таки не что иное, как падение всех частных европейских государств, или 2) он будет изнывать в общей анархии, перед которой ничтожными покажутся анархии Террора, или 48-го года, или анархия Парижа в 71 — м году. Так или иначе, для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа дисциплины.

Если новый федеративный Запад будет крепок, нам эта Дисциплина будет нужна, чтобы защитить от натиска его последние охраняемые нашей независимости, нашей отдельности.

Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасти и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может... и самую науку!.. (Не тенденциозную, а суровую, печальную) Если же это все пустые страхи и Запад опомнится и возвратится спокойно (примет небывалый в истории!) к старой иерархии, к той же дисциплине, то и нам опять-таки нуж-



на будет иерархия и дисциплина, чтобы быть не хуже, не ниже, не слабее его.

Поменьше так называемых прав, поменьше мнимого блага! Вот в чем дело! Тем более, что права-то, в сущности, дают очень мало субъективного блага, т. е. того, что в самом деле приятно. Это один мираж!

А долголетие? Разве мы в самом деле так молоды?

С чего бы мы ни начали считать нашу историю, с Рюрика ли (862) или с крещения Владимира (988), во всяком случае выйдет или 1012 лет или 886. В первом случае мы несколько не моложе Европы; ибо и ее государственную историю надо считать с IX века.

А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать. Не все государства проживали полное 1000-летие. Больше прожить трудно, меньше очень легко.

Заметим еще вот что: Аристократию родовую считают ныне обыкновенно каким-то болезненным, временным и ненормальным продуктом или, по крайней мере, праздным украшением жизни, вроде красивых хохлов

или ярких перьев у птиц, вроде цветочных венчиков у растений, в том смысле, что без хохла птица может жить и без венчиков, без красивых лепестков есть много растений, и больших. Но все это эгалитарные верования: при ближайшем реальном наблюдении оказывается, что именно те исторические миры были и плодотворнее, и могущественнее других, в которых, при монархических склонностях, сверх того еще и аристократия родовая держалась упорнее. Рим патрициев и оптиматов прожил дольше купеческого Карфагена и больше сделал для человечества.

Спарта стояла дольше Афин и не раз крепилась Афины своим примером. Древний Иран возобновили, после полнейшего разгрома, феодальные парфяне, и после их влияния, до времен аравитян, жила великая империя Сасанидов, которой цивилизация несомненно повлияла на Византию, а через посредство ее и на Европу, и на нас.

Сила и духовное богатство самой Европы, за все течение ее истории, пример тому же наилучший. Она была создана феодализмом.

Наша великорусская почва была всегда

ровнее; завоевание, вопреки мнению некоторых, было и у нас (т. е. были насилия первых князей), но оно было не глубоко; оно было слабее выражено, чем в других местах. И, может быть, это не совсем благо.

Моя гипотеза — единство в сложности, кажется, оправдывается и здесь. Мы имеем три поразительных примера: Англию, Турцию, Россию. В России (т. е. в ее великорусском ядре) было сильно единство нации; в Турции было больше разнородности; в Англии была гармония того и другого. В Англии завоевание, чужое насилие было глубоко и дало глубокие охранительные корни стране. Завоеватели настолько слились с побежденными, что составили одну нацию, но не составили одного с ними класса. В Турции завоеватели вовсе не слились с христианами, потому могли только создать сложное государство, но не единую нацию, и, отняв мысленно турок (привилегированных подданных империи), мы получаем чистейшую Демократию, христиан. В России завоевание было слабо, и слишком скорое слитие варягов с славянами не дало возможности образоваться у нас, в

собственной Великороссии, крепким условным преданиям. Сообразно с этим и творчество, богатство духа трех степеней: выше всех Англия (прежняя, конечно), гораздо ниже и беднее ее умом Россия, всех бесплоднее Турция. На Западе вообще бури, взрывы были громче, величавее; Запад имеет более плуто-нический характер; но какая-то особенная, более мирная или глубокая подвижность всей почвы ц всего строя у нас, в России, стоит западных громов и взрывов.

Дух охранения в высших слоях общества на Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому и взрывы были слышнее; у нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими... кто знает?., не быстрее ли даже других? Дай Бог мне ошибиться.

При таких размышлениях взор невольно обращается в сторону наших братьев славян... Что готовят они нам?

Новое разнообразие в единстве, всеславянское цветение с отдельной Россией во главе... Особую, оригинальную форму союзного государственного быта, в которой один несораз-

мерно большой член будет органически преобладать над меньшими, чтобы именно вышло то приблизительное согласие, которого вовсе недоставало на Западе до сих пор.

Или какое-нибудь быстрое однообразие: много шума, много минутной славы, много криков, много кубков и здравиц, а потом? Потом слияние, смешение, однообразие... А в однообразии гибель!

Надо знать, как сочетаются их и наши начала. В способе сочетания весь вопрос. Из одинаковых данных мне линий я могу составить разнообразный геометрический чертеж, замыкающий или не замыкающий, например, пространство.

Покойный славянофил Гильфердинг, в своем предисловии к «Истории Чехии» (по поводу 1000-летия России), выразился так: «Тысячелетие России является вполне знаменательным историческим фактом только в сравнении с судьбою других славянских земель. Мы, разумеется, отстраняем тут всяки мистицизм (почему же это? Зачем так бояться мистицизма или стыдиться его?); мы, подобно читателям нашим (?), не видим, чтобы

цифра 1000 сама по себе имела особое значения, вроде того, например, какое находили в ней древнеримляне, когда они с таинственным трепетом встречали тысячелетие всемирной своей державы». Нет! Но цифра эта представляется гранью, через которую не перешло ни одно из прежде бывших государств славянских.

«Государство чешское» и т. д. «семью годами не дожило до 1000-летия, польское жило 935 лет, сербское 800, болгарское с перерывами 725, хорватское менее 5 столетий».

И далее: «Отчего же в русской земле этого рокового цикла, в который вместились вся жизнь других славянских государств, от колыбели до могилы, тысячелетия едва достало на внешний рост и сложение государственно-го организма, и на грани второго тысячелетия (?) ей предстоит еще только в будущем фазис внутреннего самосознания, внутренней самостоятельности?»

«Есть над чем задуматься...» — говорит покойный «ученый», наш соотечественник. И я скажу: «Есть над чем не только задуматься, но даже ощущать и тот трепет, который зна-

ли римляне!»

Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды?

Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости или молодости. Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды.

И что такое внутренняя самодеятельность? Если понимать самодеятельность эту в смысле широком, органическом, то организм всякого государства, и китайского, и персидского, самодеятелен; ибо живет своими силами и уставами. И древняя Россия так жила. А если самодеятельность понимать не иначе как в нынешнем, узкоюридическом смысле, то мы незаметно и неизбежно придем и в идеале, и на деле к тому эгалитарно-либеральному процессу, от которого надо бежать. Потом, что такое внутреннее самосознание? Это говорит славянофил. Вероятно, это значит общеславянское самосознание. Прекрасно! Но общеславянское самосознание вовсе никак не

значит: вечное восхваление славян, великорусская угодливость юго-славянскому своеволию. Надо, мне кажется, хвалить и любить не славян, а то, что у них особое славянское, с западным, несхожее, от Европы обособляющее. Не льстить славянам надо, а изучать их дух и отделять в их стремлениях вредное от безвредного. Не слития с ними следует желать — надо искать комбинаций, выгодных и для нас, и для них (а через это, может быть, и для охранительных начал самой Европы); надо искать, как я уже раз сказал, искусного тяготения на почтительном расстоянии, а не смешения и слития неорганического.

Но о чем же мы тревожимся? Не правда ли, Австрия и Турция стоят? Возможно ли бояться слияния, когда нет еще независимости у южных славян. Стыжусь отвечать на это.

Пусть стоят Австрия и Турция. Австрия нам никогда не была сама по себе страшна, а особенно теперь, при ее благодетельном (для кого?) вторичном демократическом смешении и либеральной всеподвижности.

Существование Турции, пока многие понимают, теперь даже выгодно и нам и большин-



ству наших единоверцев на Востоке (пока мы не готовы заменить ее на Босфоре).

Но разве одно государство за другое также большое государство может стать вечным поручителем?

Разве Европа не стоит перед нами во всеоружии? Разве не видели мы вчера еще гораздо более неожиданных катастроф, чем распадение держав, в которых племенного разнообразия достаточно, чтобы вредить единству интересов и общей силе духа, и в которых, с другой стороны, сословного, горизонтального расслоения уже настолько мало, чтобы не было большого страха и крепкой градативной дисциплины?

Пусть стоят Австрия и Турция (особливо последняя); пусть стоят они, тем более что нам, русским, нужна какая-нибудь приготовительная теорема для того, чтобы чисто племенной, бессмысленно-простой славизм не застигнул нас врасплох, как Жених, грядущий полночью, застал глупых дев без светильника разума!.. Теорема эта, прибавлю, должна быть настолько сложна, чтобы быть естественной и приложимой, и настолько проста,

чтобы стать понятной и чтобы не претендовать на угадывание подробностей и разных уклонений, которых не только столь незрелая еще социология, но и более точные науки предвидеть не могут. Иные у нас говорят: «Достаточно пока сочувствий, литературного общения, поднятия всеславянского духа».

Да! Это не только желательно, это неизбежно. Поднятие это уже совершилось, но вопрос: всегда ли и во всем это поднятие славянского духа сочувственно и полезно нам, русским?

Все ли движения племенного славянства безопасны для основных начал нашей великорусской жизни?

Всем ли славянским стремлениям мы должны подчиняться, как подчиняется слабый и неразумный вождь и наставник страстям и легкомысленным выходкам своих питомцев или последователей?

Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела... Окидывая умственным взором все родственное нам славянство, мы

замечаем странную вещь: самый отсталый народ, самая последняя из возрождающихся славянских наций, болгары, вступают в борьбу при начале своей новой исторической жизни: с преданиями, с авторитетом того самого византизма, который лег в основу нашей великорусской государственности, который и вразумил, и согрел, и (да простят мне это охотничье, псарское выражение) высво-рил нас крепко и умно. Болгары сами не предвидели вполне, может быть, того, к чему их привело логическое развитие обстоятельств. Они думали бороться лишь против греков: обстоятельства довели их до разрыва с Вселенской Церковью, в принципах которой нет ничего и греческого, ни специально славянского.

«Болгары слабы, болгары бедны, болгары зависимы, болгары молоды, болгары правы», — говорят у нас... Наконец скажут мне:

— Болгары молоды и слабы!..

— Берегитесь! — сказал Сулла про молодого Юлия Цезаря — В этом мальчишке сидят десять Мариев (демократов).

Опасен не чужеземный враг, на которого

мы всегда глядим пристально исподлобья; страшен не сильный и буйный соперник, бросающий нам в лицо окровавленную перчатку старой злобы.

Не немец, не француз, не поляк, полубрат, полуоткрытый соперник. Страшнее всех их брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, если он заражен чем-либо таким, что, при неосторожности, может быть и для нас смертоносным.

Нечаянная, ненамеренная зараза от близкого и бессильного, которого мы согреваем на груди нашей, опаснее явной вражды отважного соперника. Ни в истории ученого чешского возрождения, ни в движениях воинственных сербов, ни в бунтах поляков против нас мы не встречаем того загадочного и опасного явления, которое мы видим в мирном и лжебогомольном движении болгар. Только при болгарском вопросе впервые, с самого начала нашей истории, в русском сердце вступили в борьбу две силы, создавшие нашу русскую государственность: племенное славянство наше и византизм церковный.

Самая отдаленность, кажущаяся мелочно-

сти, бледность, какая-то сравнительная сухость этих греко-болгарских дел как будто нарочно таковы, чтобы сделать наше общество невнимательным к их значению и первостепенной важности, чтобы любопытства было меньше, чтобы последствия застали нас врасплох, чтобы все, самые мудрые люди наши, дали угаснуть своим светильникам. Довольно! Я сказал и облегчил себе душу!

# Примечания

А.В. КОЛЬЦОВ.

[^^^]

Primicerius sacri cubiculi, castrensis (различные служащие императорского двора, придворные — лат.) и т. д.

[^^^]



# 3

Я нарочно для ясности называю эти вещи по-нынешнему, приблизительно.

[^^^]

Шопенгауэр предпочитает буддизм христианству, и известный компилятор Бюхнер поддерживает его в этом. Но интересно, что буддизм, не признающий личного Бога, по словам его же защитников, во многом другом более, нежели всякая другая религия, приближается к христианству. Например: учением кротости, милосердия к другим и строгости (аскетизма) к себе. Христианство содержит в себе все, что есть сильного и хорошего во всех других религиях.

[^^^]

Анархический и антиатеистический, но крепко семейственный прудонизм мало имел успеха в среде нашей молодежи; ей нравились более утопии сладострастия, фурьеризм, вольные сходки в хрустальных дворцах, чем атеистическая рабочая семья Прудона. Прудон — француз немецкого умственного воспитания, гегельянец. Вспомним также о наших сектантах, что у них преобладает: семейственность или общинность (т. е. нечто вроде государственности)? В собственно же половом отношении они все колеблются между крайним аскетизмом (скопчеством) и крайнею распущенностью.

Возможен ли в России социалист, подобный спокойному немцу Струве (см. у Герцена «Былое и думы»), который так дорожил верностью и добродетелью своей будущей жены, что обращался к френологии для выбора себе подруги? Еще пример: раз я прочел в какой-то газете, что одна молодая англичанка или американка объявила следующее: «Если женщинам дадут равные права и у меня будет

власть, я велю тотчас же закрыть все игорные и кофейные дома — одним словом, все заведения, которые отвлекают мужчин от дома». Русская дама и девица, напротив того, прежде всего подумала бы, как самой пойти туда, в случае приобретения всех равных с мужчинами прав.

[^^^]

## 6

Оно было и в Америке в лице южных рабовладельцев, южных помещиков-Демократов.

[^^^]

Власть помещика была стеснительной, т. е. крепкой охраной для целости общины. К внутренней организации прививалось и внешнее давление. Отсюда прочность мира крестьянского; надо опасаться, чтобы предоставленный только внутреннему деспотизму своему, он бы не разложился. В северных губерниях, где помещиков не было, так, говорят, и случилось.

[^^^]

Югославянские сельские задруги имели гораздо более семейный характер, чем наша община; в югославянских задругах заметнее родовый принцип; в наших мирах — как бы государственной, общинной.

Вообще у югославян и у греков два начала, семейно-патриархальное и юридически-муниципальное, больше как-то бросаются в глаза, чем у нас. Еще прибавлю: на каких идеалах, на семейных ли, собственно, или на религиозных, сосредоточилась поэтическая деятельность нашего простого народа? У малороссов, у греков, у сербов, у болгар нет мистических стихотворений, а великороссы простого звания (у раскольников) весьма богаты мистическими стихотворениями.

[^^^]

Законы о состояниях; сын почетного гражданина и т. п.

[^^^]



Эти добрые хохлы. Я их хорошо знаю, хохлов, но русские липоване еще лучше. Они мне нравятся больше (фр.). Липованами называли старообрядцев, поселившихся на территории Османской империи.

[^^^]

Китаец и турок поэтому, конечно, культурнее  
бельгийца и швейцарца!

[^^^]

# 12

Теперь, слава Богу, не так уж! (1884 г.)

[^^^]

S.-Rene Taillandier, человек умеренно либеральный и потому, естественно, молящийся на так называемый tiers-etat, везде, где он его встречает или чувствует, к чехам очень расположен и умоляет их только быть подальше от этой деспотической, византийской России. «Вы не то, что поляки с их возвышенными неосторожностями (imprudences sublimes); вы выработали у себя, благодаря близости немцев, tiers-etat; ваши добродетели более буржуазны. Зачем же вам необдуманые поступки и слова? Не нужно более поездок в Москву!» — говорил чехам этот француз в 70-м году в «Revue des deux mondes». Я с ним, впрочем, согласен: на кой нам прах эти чехи!

[^^^]

До зубов

[^^^]

1882 г. Теперь опасность разрыва русских с греками миновала; но зато болгары обнаружили еще больше демагогического духа.

[^^^]

Некоторые из этих сравнительных выгод и невыгод я перечислял в статье моей

— «Панславизм и греки». Скажу здесь еще вот что: 1. Болгары все вместе под Турцией; греки разделены между двумя центрами, Афинами и Царьградом, которые не всегда согласны.

2. Болгары против султана не бунтовали никогда; у них есть партия, мечтающая о султানে, как о царе болгарском, о турко-болгарском дуализме. Загнанность народа послужила ему в пользу; он был непредприимчив и робок, а вожди обратили эту слабость очень ловко в силу. Пока греки рыцарски проливали кровь в Крите, болгары лукаво подавали адрес султану. Это вдруг двинуло их дела.

3. Простолюдины болгарские менее развиты умом, чем греческие; при ловкости старшин и это оказалось силой. Их легче обмануть, уверить, что раскол — не раскол, что Россия сочувствует им безусловно, что весь мир за них и т. п. У греков каждый больше мешается и шумит. У болгар меньше. 4. Греки образо-

ваннее и гораздо богаче, но за болгар мода этнографического либерализма, за них должны быть все прогрессисты, атеисты, демагоги, все ненавидящие авторитет Церкви, наконец, все не знакомые с узаконением Вселенской Церкви или не вникающие в ее дух (а сколько этих не вникающих!). 5. Оружие? Но оружия греков болгары не боятся: против этого есть турки, в крайности нашлись бы и другие. Страх болгар отчасти притворный страх, отчасти ошибочный. Можно было бы сказать и больше, но я пока воздержусь. (1874.) Пр. 1884. И через 10 лет мне приходится мало что изменить в этом примечании 74-го года. Сущность все та же.

[^^^]



Я разумею здесь не политические симпатии или антипатии словаков, а только их культурно-бытовые привычки. Многие смешивают это, и напрасно. Малороссы, например, доказали, что они предпочитают соединение с Велико-Россией польскому союзу, но нельзя не согласиться, что в быту их, в культурных привычках было всегда довольно много польского, с московским вовсе не схожего. Таких примеров много.

[^^^]

Хотя и тут надобно заметить нечто если не в полное оправдание греческого духовенства, то, по крайней мере, для более ясного понимания болгарского вопроса. Старые восточные епископы могли иметь свои пороки, будучи не только духовными пастырями, но и светскими начальниками над всеми православными людьми Турции; они были поставлены в положение трудное, часто опасное; за почет и вещественное вознаграждение, которым они пользовались, они платили тяжкой ответственностью. Иные заплатили и жизнью, и нередко без вины. Так, например, знаменитый патриарх Григорий был повешен турками в 20-х годах, несмотря на все увещания не бунтовать, с которыми он обращался к грекам. Понятно, что такое положение, развивая в епископах известного рода качества; силу воли, выдержку, административный и дипломатический ум, — развивало и соответственные пороки: властолюбие, корысть (иногда для самосохранения, в случае беды), жестокость. Но жестокость обращения на-

правлена была у них столько же и на греков, сколько на болгар. Национальной идеи при этой прежней жестокости и в помине не было. Невежество, в котором они оставляли болгар, никак нельзя считать плодом национального расчета. Напротив, это была ошибка, или, скорее, бессилие, недостаток средств. Если бы 50 лет тому назад большинство болгар было обучено греческой грамоте (о болгарской тогда никто и не думал), то болгарского вопроса не было бы вовсе. Большинство болгар было бы погречено по чувствам и убеждениям.

[^^^]

Писано в 1873-74 годах.

[^^^]

Современные события оправдали меня.  
(1884 г. — Сост.)

[^^^]

Из Дентона. Дентон радуется этому. 1874.

[^^^]

Не был ли я и в этом пророком? Через год после этой книги сербы восстали. Они начали движение.

[^^^]

Я боюсь, чтобы какой-нибудь тонкий мудрец не принял моих слов о бескорыстии России за фразу, за «придворную штуку» и не потерял бы доверия к моей искренности. Разумеется, бескорыстной политики нет и не должно быть. Государство не имеет права, как лицо, на самопожертвование. Но дело в том, что на востоке Европы корысть наша должна быть бескорыстна в том смысле, что в настоящее время мы должны бояться присоединений и завоеваний в Европе не столько из человечности, сколько для собственной силы и славы. И чем ближе к нам нации по крови и языку, тем более мы должны держать их в мудром отдалении, не разрывая связи с ними. Идеалом надо ставить не слияние, а тяготение на рассчитанных расстояниях. Это я надеюсь объяснить дальше гораздо подробнее. Слияние и смешение с азиатцами поэтому или с иноверными и иноплеменными гораздо выгоднее уже по одному тому что они еще не пропитались европеизмом.



[^^^]

Не лишним, может быть, окажется здесь следующий рассказ, дошедший до меня из верных источников. Один именитый русский человек, к тому же и весьма ученый, имя которого известно и у нас, и на Востоке, и в Европе, имел не так давно разговор с одним из главных народных чешских вождей (также как нельзя лучше известным и у нас, и везде).

Чешский деятель рассылался в разговоре с этим русским сановником в похвалах народу русскому; особенно правительству нашему: он говорил о своих симпатиях к нам, о глубоком уважении к нашей монархии.

«Но, разумеется, — прибавил он с уверенностью, — монархическая форма есть временное состояние, монархическая власть нигде в наше время не имеет будущности».

Удивительно! Откуда у людей мыслящих и даровитых это ослепление, веРа в Демократический прогресс, как во что-то несомненно хорошее! Как же не °хвадить при этом Герцена за его насмешки над республиканской ортодокИ! Противоречия Герцена самому себе в

подобных случаях делают ему великую честь.

[^^^]

Я опасаясь здесь упрека за длинноту и подробность того, что иные готовы счесть обыкновенным уподоблением.

Уподобление не только красит речь, но даже делает главный предмет более доступным и ясным, если оно уместно и кратко. Длинные же, утомительные уподобления только путают и отвлекают мысль. Но спешу сознаться, что я имею здесь претензию на нечто гораздо больше, чем уподобление: я имею претензию предложить нечто вроде гипотезы для социальной или для исторической науки.

Прав ли я или нет, хорошо ли я выразил мою мысль или худо, это другой вопрос. Я хочу только предупредить, что дело здесь не в уподоблениях, а в желании указать на то, что законы развития и падения государств, по-видимому, в общих чертах однородные не только с законами органического мира, но и вообще с законами возникновения, существования и гибели (Enstehen, Oasem und Vergehen) всего того сущего, что нам доступно. Всякий знает, что государство падает, но как? При ка-

ких признаках? И есть ли теперь такие Ужасные признаки? У кого? Вот цель! (Примеч. автора, 1874 г.).

[^^^]

Люди выбиты из колеи (фр.)

[^^^]

Наука о религиях (фр)

[^^^]

Человек в свете науки (фр.).

[^^^]



Согласно иероглифическим документам, верования в Египте, вероятно, не были зафиксированы и систематизированы до конца 4-ой династии, они существовали до победы этой страны Камбизом, после чего они претерпели быстрый распад (фр.)

[^^^]

Система Линнея — искусственна; система другого ботаника Bernard de Jussieu — естественна по всецелости, по совокупности признаков.

[^^^]

Гизо предпочитает считать начало французской государственности effle позднейшим, с Гуго Капета (987–996). Во всяком случае я сказал — IX и X века.

[^^^]

Что положено Юпитеру, не положено быку  
(лат.).

[^^^]

Крайности сходятся (фр.).

[^^^]

Реформы Гладстона теперь и Англию почти сравнивали с другими странами на пути разрушительного смещения (1885 г.).

[^^^]

Соединенные Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле.

Вообще Соединенные Штаты не могут служить никому примером. Они слишком еще недолго жили; всего один век. Посмотрим, что с ними будет через 50–25 лет. (И у них было прежде больше прочного, не смешанного разнообразия — было рабство, а теперь упрощение и смешение). Если они расширятся как Рим или Россия на другие несхожие страны, на Канаду, Мексику, Антильские острова и вознаградят себя этой новой пестротой за утраченную по...ней борьбой внутреннюю сложность строя, не потребуются ли тогда им монархия? Многие, бывшие в Америке, так думают.

[^^^]

Дж. Ст. Милль говорит о том, что все мыслители классической древности были консерваторы; только теперь, мол, поняли, что есть прогресс.

[^^^]



Разве в александрийском периоде количественное разлитие просвещения не было гораздо сильнее, чем в эпоху творчества?

[^^^]

История персов (фр.).

[^^^]

Материальное благосостояние и мораль чело-  
вечества (фр.).

[^^^]